

К.Н. Леонтьев

Владимир Соловьёв против Данилевского

I

Почти в одно и то же время я получил № 6 «Русского дела», в котором встретил горячую защиту взглядов Н. Я. Данилевского против внезапного нападения на него В. С. Соловьёва, и оттиск самой статьи г. Соловьёва из «Вестника Европы».

В защитительной статье «Русского дела» основательно замечено, что наше русское национальное чувство представляется г. Соловьёву самым главным препятствием для достижения его высшей цели: соединения Церквей под главенством папы.

Не скрою, что видеть имя Соловьёва на страницах г. Стасюлевича мне было тяжело.

Но что делать? Ввиду *других целей*, тоже ничуть не низких, можно и примириться с этой неожиданностью.

Этим поступком г. Соловьёв доставил возможность более свободного возражения всем тем, которые до этого *отрицательного* нисхождения его в «студенец нетления» не решились бы резко противоречить положительным сторонам его учения, его главной, *духовной цели: спасти посредством воссоединения церквей наибольшее количество христианских душ и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе, к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию.*

Нет спора, это так просто, ясно и возвышенно — сделать первый шаг к примирению двух церквей, разделённых и давно враждующих, но внутренне соединённых общею «благодатью», как доказывал ещё прежде сам Соловьёв.

Конечно, стоит только христианину вообразить себе на мгновение, что обе церкви — Восточная и Западная — вместо того, чтобы изнуряться в борьбе друг с другом, соединили бы свои разнородные силы против общего врага, против *неверия*, против всемирной революции, стоит, говорю я, христианину только на миг вообразить себе это, чтобы сердце его исполнилось радости!

Этой главной цели стремлений г. Соловьёва противоречить надо, мне кажется, с величайшей осмотрительностью, чтобы *не согрешить*. Желанию

примиришь обе апостольские Церкви противоречить грубо и резко могут, по моему мнению, люди только двух родов: или те, у которых лично духовное чувство слишком слабо в сравнении с другими чувствами (национальным, утилитарно-либеральным и т. д.), или те, напротив, которые так просты в своём крепком Православии, что боятся и не смеют разделять в уме своё настоящее от будущего: современную, *личную и безусловную*, принадлежность нашу к Восточному исповеданию от *возможностей изменений* церковной жизни в более или менее отдалённом грядущем. Но отделять в самом себе эти два движения можно. Я могу, в личных действиях моих и даже в помыслах относительно настоящего, быть в полном подчинении духа у представителей Восточной иерархии и вместе с тем могу говорить себе так: «Если это соединение Церквей, *в какой бы то ни было форме*, даже и в форме простого подчинения папе, находится в предначертаниях Божиих, то придёт время, когда наши восточные епископы найдут это возможным и правильным, и верующие *потомки* наши обязаны будут идти за ними хотя бы и «в Каноссу». *А если нет — нет!* И тогда лишь будет решено и ясно, что такое был в своё время Владимир Соловьёв, великий ли пророк истины или лжепророк, захотевший, на поприще духовном, стать выше духовных властей.

А пока этого ещё не случилось, нельзя решить, *что он такое*, с этой точки зрения.

Что касается меня лично, то я нахожу, что и в настоящем даже проповедь г. Соловьёва скорее полезна, чем вредна.

Она полезна двояко: во-первых, *общехристианским мистицизмом* своим; во-вторых, той *потребностью ясной дисциплины* духовной, которая видна всюду в его возвышенных трудах.

Мистицизм (т. е. расположение веровать в нечто таинственное, выше видимого мира и выше нашего разума стоящее) до того *теперь нужен* человечеству, что не только мистицизм какого бы то ни было христианского оттенка приносит пользу, отвлекая ум от господствующей утилитарной пошлости и мелочной практичности нашей, но даже и *всякий* мистицизм, — мусульманский, буддийский, индивидуально-фантастический, спиритический и т.д. — может *косвенно* быть полезен как вообще для подъёма принижённых помыслов наших, так и в частности для переноса этих высшего порядка мыслей и ощущений в область православного мировоззрения. Ибо, чем больше я располагаюсь к вере в *сверхчувственное вообще*, тем легче мне и к своему православию возвратиться; тем легче мне облечь мою *общую веру ума*

в одежды моей сердечной любви. Вера родит любовь, и любовь родит веру. Если же допустить эту общую, хотя бы и косвенную, пользу мистицизма *какого бы то ни было*, — то как же не признать ещё более действие того полукатолического (или, если хотите, и вовсе католического *в конце*) мистицизма, которым дышат прекрасные книги нашего молодого и глубокомысленного теософа.

Широкое основание духовно-церковной пирамиды — *общее*; вершина её должна быть *в Риме*, по мнению г. Соловьёва. Мы можем не соглашаться с этим последним выводом (Владимир Соловьёв не собор восточных епископов); мы можем и, вернее даже, мы должны теперь, как православные, думать и надеяться, что *вершина эта отклонится скорее на восток*, чем на запад... Это само собою разумеется. Но то, что он говорит об этих *основаниях общих*, привлекательно и возвышенно до гениальности; отвергнуть этого мы не имеем права. Самое своеволие и самая оригинальность его первоначальных объяснений подкупает в его пользу даже и зрелый ум, даже и богобоязненное сердце. Его своеобразное освещение всем известных фактов священной и церковной истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами его тонкое, философское остроумие, — всё это невыразимо освежает наш ум, привыкший к несколько тяжёлым и сухим приёмам нашей духовной литературы, и открывает перед нами новые и светлые перспективы.

Читая его, начинаешь снова надеяться, что у Православной Церкви есть не одно только «небесное будущее» (ибо только в *этом смысле* мы обязаны *безусловно верить*, что «врата адовы не одолеют её»), но и *земное*; что есть надежда на её *дальнейшее развитие* на правильных и древних св. отеческих основаниях.

Возможность появления у нас этого русского самобытного мыслителя даёт верующему право мечтать и о других *более правильных* возможностях в области церковно-мистического мышления.

Одно то, что Владимир Соловьёв первый осмелился так резко «поднять», как говорится, целую бурю религиозных мыслей на полудремяющей поверхности нашего церковного моря, есть заслуга немалая! Эта буря не скоро уляжется... И не дай Бог ей утихнуть! Это не рационализм, не пашковская вера, не штунда какая-нибудь, не медленное течение по наклонной плоскости в бездну безверия, это наоборот, *против давнего течения*, против привычного полупротестантского (со времён Петра) уклонения нашего; это против нашей «русской *шерсти*» даже... Но и это не беда. Мы будем *своё* отстаивать: он

только сильнее возбуждает нас к отпору... *Своё*, органическое, predetermined возьмёт верх; то, что в учении Соловьёва не нужно, то будет всеми отвергнуто, а то, что *было нужно* (по-моему, например, нужна его теория *развития Церкви*), то останется и войдёт в состав дальнейшего нашего мышления.

Я выше сказал ещё о потребности духовной дисциплины. Другое дело добрый пример подчинения, другое дело *самоподчинение*. Никто у нас не желает подчиняться самому Бисмарку или императору германскому; но подчинение *германцев своему* императору и своему Бисмарку (даже при существовании жалкой конституции этой) есть один из благодетельнейших примеров современной истории. Зачем я пойду к самому лучшему из римско-католических *директоров совести*, когда могу, если мне нужно, подчинить мою волю русскому или греческому духовному старцу?.. Но *пример* хорошего образованного католика может, в подобном случае, дать мне невольно сильный и душеспасительный толчок.

Зачем я пойду в *Рим* за Соловьёвым? Мне ни для личного спасения, ни для процветания нашей отчизны этого не нужно.

Если бы мне было категорически объявлено *свыше*, иерархически объявлено, что *вне Римской Церкви нет мне спасения за гробом*, — и что для этого спасения я должен отречься и от русской национальности моей (которая так мне драгоценна), то я бы отрёкся от неё не колеблясь, как отрекались первые христиане и от узкой иудейской народности, и от слишком широкой римской государственности (там, где она посягала на их внутренний мир).

Но возможность личного спасения видимо признаёт Соловьёв и на лоне Восточного Православия. Зачем же я пойду в Рим, когда никто, имеющий право духовно мне повелевать, этого мне не предписывает? Ни всевосточный Собор, ни восточные патриархи, ни св. русский синод — мне этого ещё не сказали!

Владимир Соловьёв для меня не имеет ни личного мистического помазания, ни собирательной мощи духовного собора.

Я признаю за ним с радостью и любовью силу личного духа, но духовной силы благодати не признаю за ним. В этом смысле, в смысле обязательности, катехизис самый краткий, сухой и плохо составленный, но духовною цензурою просто-напросто одобренный, для меня, православного, в миллион раз важнее всей его учёности и всего его таланта!

*Я не пойду в Каноссу до тех пор, пока «катехизис» мне этого не прикажет. Я пойду с Соловьёвым безбоязненно, быть может, и до половины пути его «развития»; но может ли его гений помешать моему православному разуму проститься с ним на этом распутии и, протянув ему руку признательную (и за наслаждение *многим*, и даже за поучение *многому*), сказать в последнюю минуту: «*Боязнь согрешить* не позволяет мне идти с вами дальше. Епископы и старцы наши ещё нейдут, и я не пойду. Вы не боитесь ставить себя выше их: это ваше дело и ваш ответ пред Богом. Я же привык молиться: «Утверди, Боже, страх Твой в сердце моем!»*»

Если хотите, я *люблю* даже папу римского; я *чту* его; я готов бы был, если бы мог, своими руками уничтожить и г. Криспи, и всех других противников папства... на *Западе*... Но я *не смею*, я *не имею права* дать волю моему личному вкусу, пока мне это не *разрешено*! *Да и вы сами* — ещё вопрос — *туда ли* вы нас ведёте? Быть может, вы подобны Колумбу... Он искал морского пути в Восточную Индию и *не нашёл его, а открыл нечаянно нам Америку*...

Ищите, ищите на свой страх путей к теократическому устройству жизни. Пробуждайте в наших почтенных охранителях и в плачевных либералах наших живую и высокую богословскую мысль! Я *люблю* ваши идеи и чувства, уму вашему я готов поклоняться со всей искренностью моей независтливой природы, — но, я... не только сам не пойду за вами, — я всякому, кто захочет знать моё мнение, скажу так: читайте его; восхищайтесь им; восходите за ним до *известного предела* на высоту его *духовной пирамиды*; но при этом храните строго в глубине сердец ваших *боязнь согрешить* против той Церкви, в которой вы крещены и воспитаны. Если в сердце вашем крепок этот *мужественный страх Божий*, — не бойтесь и Соловьёва; любите и уважайте его. *Это твёрдое православное чувство научит вас само, где остановиться!*

Так я скажу тому, кто захочет знать моё мнение. Я не богослов, с меня и этого довольно. Я этими соображениями удовлетворён и успокоен вполне. Таково моё мнение о высших положительных целях Владимира С. Соловьёва.

Таково моё краткое предисловие к отрывочному (сознаюсь) и недостаточно ещё обдуманному разбору его отрицательных взглядов на Россию, славянофилов и Данилевского.

Здесь конец моему преклонению и пред талантом его, и пред его оригинальным и важным призванием — направлять *куда-то* религиозную нашу мысль. Может быть, и совсем *не туда, куда бы он желал!*

Здесь я могу быть решительнее: я могу тут сказать без колебаний, что г. Страхов гораздо правее его в своей оценке замечательных трудов Данилевского. Я даже постичь не могу, что может сказать г. Соловьёв против общей теории существования и смены *культурных типов*? Увидим!

Что романо-германский государственно-культурный мир разлагается, по крайней мере, в антихристианской среде своей — в этом нет никакого сомнения, и сам г. Соловьёв *прежде и недавно* ещё признавал это (см. «Национальный вопрос в России» стр. 86, 87). Что нужен *поэтому* новый культурный тип для истории, это тоже несомненно. Что славянам именно предназначена *какая-то* особая роль, — это тоже признает и сам Соловьёв, ограничивая, впрочем, это назначение преимущественно религиозным призванием — стать и почвой, и орудием для соединения церквей.

Ведь и это, пожалуй, было бы в роде *нового культурного типа*! Особенно при больших взаимных уступках вышло бы нечто такое, что было бы и не «древнее православие», и не римский католицизм. Что Россия и славянство нечто ещё *полузагадочное и особое* — тоже, кажется, нельзя сомневаться.

Можно сомневаться разве только в том, *насколько особо, насколько своеобразно* выйдет это полузагадочное? Настолько ли, насколько была резко своеобразна Персия Зороастра между халдеями, греками, евреями и Египтом; или *гораздо менее* оригинально, напим., хоть бы вроде языческого Рима, который вначале был очень похож на разросшуюся в единстве муниципальную греческую республику, а потом стал всё ближе и ближе подходить к стилю восточных царств; до тех пор подходил, пока вовсе переродился на 1000 лет *в восточно-жреческую* по социальной форме, *христианскую* по идеям, Византию.

II

По мнению Влад. Соловьёва, у России нет и не должно быть никакого особого культурного призвания. Назначение русской (и вообще славянской) цивилизации одно: *служить почвой для примирения православия с папством*. Призвание исключительно *религиозное*; всё остальное и безнадёжно, и неважно. Поэтому всякая попытка резко обособить Россию от Запада в других отношениях: в государственном, экономическом, в научном, философском и эстетическом, есть попытка не только тщетная, но и прямо

вредная, как помеха и задержка на главном пути — религиозного слияния всех христиан во единую истинно Вселенскую Церковь (и не только всех христиан, но и евреев — ибо «весь Израиль спасётся»).

А если так, то надо противоборствовать всему тому, что способствует национальному и культурному обособлению, к которому теперь замечается у нас такая несомненная склонность. Надо прежде всего поколебать основы того учения, которое зовётся «славянофильством», и поразить именно тех из его представителей, у которых эти основы выражены яснее, точнее, научнее, чем у других.

Прежде всего поэтому надо начать с Н. Я. Данилевского и его систематической и ясной книги «Россия и Европа», с его *теории культурных типов*.

Замечательный человек этот скончался, не доживши не только до заслуженной им славы, но и до справедливой оценки большинством своих русских сограждан. Даже сами главные представители хомяковского старого славянофильства очень долго при жизни Данилевского почти не упоминали об нём. Только один серьёзный голос Н.Н. Страхова одиноко и мужественно звучал в его пользу с самого начала появления книги «Россия и Европа». Все другие небольшие и невнимательные разборы, заметки об этом шедевре или «катехизисе» славянофильства в начале 70-х годов были пусты, легкомысленны, пожалуй, даже и довольно глупы. Таков, между прочим, и пустейший отзыв Щебальского в «Русском вестнике» Каткова. Стыдно читать! За самые последние годы настойчивость г. Страхова стала видимо приносить плоды; имя Данилевского стало повторяться чаще и чаще, а его идеи стали входить понемногу и полусознательно в моду даже и у тех, которые с самим источником этих идей, с его классической книгой, незнакомы. Вот прекрасный случай повторить старое изречение: «И книги имеют свою судьбу!»

Сам г. Соловьёв говорит, что прежние славянофилы: Киреевский, Хомяков, Самарин, Аксаковы — были скорее поэты, мечтатели, и только один Данилевский предъявляет более других научные притязания.

У него всё точнее, яснее, и потому он может стать *действительнее, влиятельнее*, при условиях всё большего и большего успеха, всё большей и большей популярности. Торжество и распространение идей Данилевского, их дальнейшее развитие, возвышая нашу русскую национальную гордость, надмеая нас *культурно*, может стать значительной помехой на пути того исключительно религиозного призвания, на которое указывает нам Влад. Соловьёв.

Ведь всякая национальная религия есть (по Данилевскому) самая существенная основная черта культурного обособления: ибо весьма многие даже из тех людей, которые в глубине сердец своих в догматы своей народной религии не веруют, учению её в своей личной жизни строго не следуют, *гордятся* всё-таки ею, как национальным знаменем, находят полезным *поддерживать* её и для государственной дисциплины, и для национальной своеобразности, и вдобавок ещё нередко *любят* всей душой её *формы*, обряды и т. д., потому что выросли на них и сроднились с ними.

Итак, национальная религия главная помеха на дороге к Риму.

Однако нападать на неё прямо не совсем *удобно* с практической стороны; нельзя ли взяться иначе?

У Данилевского признаются в каждой особой культуре четыре основы, четыре столба: религиозная основа, государственная, экономическая и культурная в тесном смысле (наука, философия, искусство). Государственная основа русская самому Влад. Соловьёву необходима для его высших целей (как явствует достаточно из его прежних сочинений). *Римский папа, Русский Царь Самодержец* и хорошее гуманное *экономическое устройство*: вот что нужно нашему даровитому богослову.

Расшатывать основы государственной силы нашей поэтому г. Соловьёву *ничуть нежелательно*. Касаться прямо православия, для подчинения его папству, повторяю, практически неудобно (хотя, быть может, *слегка* и желательно¹).

Что же делать? Надо (всё для расчищения того же *пути* к «высшему») пошатнуть более доступные опоры; потрясти основание *собственно культурных* надежд; надо развенчать Данилевского и обезнадёжить раз навсегда его учеников и поклонников.

Пусть «Вестник Европы» не может сочувствовать мистическому стремлению в Рим; он Вестник не *действительно великой* Европы Григория VII, Иннокентия III и Пия IX; он Вестник другой Европы — новейшей (в смысле времени), дряхлейшей (в смысле разложения), он Вестник Запада легально-революционного, прилично мещанского и плоско-отрицательного. Этот Вестник, который не принял бы на свои страницы изложения положительных теологических взглядов г. Соловьёва, примет на них с радостью всё то, что

¹ Писано ранее книги «La Russie et l'Eglise Universelle. Примеч. автора, 1891 г.

будет, в мало-мальски цензурной форме, отрицательно относиться к русской национальности.

И вот появилась статья под тем же самым заглавием, под каким напечатана была книга Данилевского: «Россия и Европа».

«Поражу пастыря и разыдутся овцы!»

Посмотрим, как поразил он этого «пастыря»?

По моему мнению, в первой, по крайней мере, статье, он поразил его довольно слабо, в увлечении *умственной страсти* своей!

Некоторые указания его можно обратить против него самого. Например: *о теориях крылатых и ползучих*.

Всё это весьма умно подведено, но ничуть ещё не убедительно для опровержения славянофильских надежд на особую культурную роль России и славянства.

Г. Соловьёв начинает так:

«Леопольд Ранке в своей «Всемирной истории», излагая идеал государства у Платона, замечает, что идеал этот, решительно и намеренно противопоставляемый основам тогдашней греческой государственности, был в главных своих чертах, через много веков после Платона, осуществлён в общем политическом строе средневековой Европы. Идеальное государство Платона основывается, как известно, на разделении трёх классов: 1) рабочего, питающего общество; 2) военного, защищающего или охраняющего и 3) духовного или философского, управляющего обществом. И именно это основное политическое деление, говорит Ранке, было в полной силе в Европе средних веков: подчинённое рабочее население; над ним особый класс, имевший исключительное право носить оружие, и, наконец, во главе всего общественного организма, духовенство, которое обладало всем тогдашним знанием, но с «перевесом идеи божественного» (как и у Платона), и воспитывало народ в этом направлении».

«Тут (продолжает г. Соловьёв), в этом идеальном государстве Платона, мы имеем таким образом блестящий пример *крылатой* теории общества, такой теории, которая, расходясь с данным и местным, и временным видом общежития, имеет, однако, внутреннюю силу реальности в более широких размерах» и т. д.

Правда — что Платон написал свою «Республику» лет приблизительно за 400 до Р. Х., а то состояние романо-германского мира, в котором теория Платона нашла своё осуществление, продолжалось, примерно, от падения Западно-Римской империи до реформации и возрождения — значит, до XV (положим) века по Р. Х. Прошло 400 лет до Р. Х. и 500 по Р. Х., то есть почти 1000 лет между обнародованием «Республики» Платона и первыми признаками тех социальных порядков в Европе, при которых она (Европа) должна была прожить ещё около 1000 лет. Впрочем, всё это счисление верно, если считать начало таких Платоновских порядков прямо с той минуты, когда бедный Ромул Августул поверг свою багряницу к ногам Одоакра. Но это, мне кажется, будет не совсем точно. Порядок более определённый в романо-германской Европе надо считать установившимся гораздо позднее, со времён Карла Великого. *Отделение формальное* от Восточной Церкви (*особая религиозная культура*), начало светской власти пап; явное преобладание духовенства (мудрецов Платона) и т. д., значит, X, XI век — *до XV*, 400 лет с чем-нибудь. До этого строй не был ещё ясен в сознании; после этого он понемногу и сознательно стал разрушаться.

Действительно, мысль Платона была и «крылата», и реальна; но почему же мысль Данилевского (и вообще славянофильская мысль) и *неосуществимая*, и *ползучая*, как называет её г. Соловьёв? И в ней есть и полёт, и реальность. Потому ли только она нехороша и поверхностна, что она мешает «крылатой» тоже мысли г. Соловьёва о необходимости соединения церквей?

Это ясно не выражено здесь у автора. Говорится только о том, что *задачи* должны быть — *всемирными, а не обособляющими*.

Яснее выражено другое вышеприведённое обвинение; вот оно: «Существуют другого рода общественные теории, которые, в противоположность *крылатым*, следует назвать *ползучими*. Они крепко держатся за *данные* основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту *над современною* им жизнью. Они умирают там, где выросли, и в будущие века переходят лишь как историческое воспоминание».

И дальше.

«Обыкновенно такие теории, привязавшись к *современному им типу общественных отношений*, выдают его за нечто окончательное и непреложное»... «Они вступают в гибельное противоречие с ходом истории». «Стараются подкрасить *данный* жизненный строй и, сохраняя неприкосновенными его основные черты, требуют исправления

второстепенных подробностей». «Малая доля *поверхностного идеализма*, которым приправлены подобные «трезвые» взгляды, даёт лёгкое удовлетворение ленивой и робкой мысли».

Так ли это? «Данная действительность» в России, к несчастью, во многом до сих пор *почти совсем* европейская. Я не говорю во *всём*, я говорю лишь во *многом*. И осуществление славянофильских теорий вовсе не близко; *на практике* — славянофильство ещё в детстве; мы это все понимаем; понимал это, конечно, и Данилевский. Как определить срок подобному, хотя бы приблизительному осуществлению? Это очень трудно; однако не совсем уж невозможно. Например: через 25 лет? Нет, это неосуществимо! Через 50? Возможно, но всё-таки трудно. Через сто, полтораста — пожалуй... (подробнее я скажу об этом дальше). Конечно то, что я здесь говорю об этих числах и сроках, очень грубо и поверхностно. Но всё-таки и в этом грубом виде мысль становится определённое. *Есть же* приблизительные, правдоподобные сроки всему: это несомненно. Всякий, следящий, например, за политикою и понимающий историю, чувствует, что борьба за разрешение Восточного вопроса, при нынешних обстоятельствах, не может быть отложена на 50 и даже на 25 лет. На пять быть может. *Но и это мало вероятно...* Чувствуется, что разрешение ближе!

Через сто, полтораста лет, быть может, я сказал, начнётся пора этого славянофильского *плодоношения*. Это состояние, если оно осуществится, продержится, положим, в *самом счастливом* случае, несколько веков (не 10, не 8, а каких-нибудь 4—5 веков) и начнёт потом более или менее быстро изменяться, *склоняясь в свою очередь к гибели*. Вероятно, будет так. Однако ни неизбежность этой гибели, ни сравнительная отдалённость того плодоношения, о котором я только что говорил, не должны нас теперь смущать. Делай, что должен (обособляйся от Европы); верь, что это *сбудется*; но *когда* — точно определить нельзя. *Кто будет тогда жить, увидит и вспомнит, быть может, добром* и о нас, которые умели, не видевши, веровать.

Какая же это «ползучая» теория? Это тоже очень крылатая мысль.

Сравним теперь теорию самого г. Соловьёва, с точки зрения этого полёта, и с теорией Платона, и с надеждами всех славянофилов, без различия в них личных оттенков на этот раз (сам Аксаков допускал *перерождение* славянофильства в иные формы).

Итак, мы видим, что у Влад. Серг. Соловьёва различие теорий «крылатых» от теорий «ползучих» основано на двух довольно простых признаках: на разнице их отношений к *будущему* и на разнице их отношений к *прошедшему* и *современному*.

Относительно прошедшего и современного (я на первый раз их соединяю в одно, противопоставляя их совместно более или менее *гадательному* будущему), г. Соловьёв сам высказывается, как уже было приведено прежде, так: «Они (ползучие теории) крепко держатся за данные основы общества и никогда не поднимаются на значительную высоту над *современною* им жизнью». Такие теории, «привязавшись к *современному* им типу общественных отношений, выдают их за нечто *окончательное и непреложное*»... И дальше: «Малая доля *поверхностного* идеализма, которым приправлены подобные «трезвые» взгляды, даёт лёгкое удовлетворение ленивой и робкой мысли».

Это относительно *современных* или *данных* основ. Когда мы говорим: современные или данные основы, то само собой разумеется при этом и *прошедшее* той нации, того государства, или той культуры, о которой идёт речь; ибо основами называются в этом случае те из начал, правящих жизнью современного нам общества, которые *неизменнее* других продержались, или с самого зарождения данного общества, или с эпохи его утверждения до наших дней, до современности. Православие — это основа с зарождения (с Владимира). Удельный же и вечевой порядок не основа; никто не станет считать его основой ни современной, ни вообще русской жизни; а *самодержавие* как Иоанна III, так и ныне царствующего Императора всякий считает основой, хотя оно утвердилось позднее, на развалинах более древнего удельно-вечевого строя. Эмансипационный, либеральный порядок, водворившийся у нас с прошедшего царствования, также никто не станет называть основой. Самый умеренный, *средний* в этом вопросе человек не скажет, что принцип *личной свободы* крестьян есть основа. И если даже он считает эту реформу безусловно благодетельной, то всё-таки он мыслит так, противопоставляя несколько гуманность и свободолюбие *государственности*; т.е. он понимает, что нельзя такое *новое* и *недавнее* состояние освобождённого народа равнять с точки зрения прочности (*основности*), с состоянием того векового порабощения, при котором Россия из полудикого агрегата княжеств возросла до степени великой и просвещённой мировой

монархии. Такой человеколюбивый и средне-либеральный человек *нашего времени* должен будет всё-таки признать, что личная свобода крестьян никак не основа, а скорее несколько *противоосновное состояние*. Она, эта свобода, может быть (по его мнению, положим) государством Русским *переносима надолго*, но и то лишь благодаря крепости других основ: православия, монархии; благодаря *прикреплению* крестьян к земле, какому-то подобию социалистического рабства, вместо лично феодального, как было прежде, и, пожалуй, ещё благодаря кой-каким, хотя и слабым, но ничем у нас пока не заменимым остаткам дворянской властности и дворянских *привычек*. Все основы *стеснительны для большинства*: это должно быть признано, я думаю, социологической аксиомой. Всё, что усиливает личную свободу (т.е. своеволие) большинства, не есть основа, а большее или меньшее расшатывание основ. Это тоже, мне кажется, *пора* признать вполне ясным. Перенести кой-как свободу — можно, считать её основой — нельзя.

Итак, всё то, что можно назвать основой, в данной *современности* есть нечто и *стеснительное*, и *связанное неразрывно с прошедшим* государства и нации.

И тот, кто обвиняет другого за то, что этот другой крепко держится за *современные основы*, обвиняет его в тесной связи и с прошедшим нации, государства и целой культуры.

«Крылатая» теория поэтому та, которая наименее связана с прошедшим, с историею, с бывшим и существующим; «ползучая» — связана теснее мыслями своими с этим существующим и прошедшим, с этим уже бывшим в истории или пребывающим в ней.

Это по отношению к современному и прошедшему.

Об отношении этих противоположных теорий к будущему Владимир Соловьёв сам так прямо не высказывается; но из приведённого им примера Платоновой республики и средневекового строя Европы мы имеем право вывести, что «неползучей» мыслью он считает ту, у которой нет возможности осуществиться раньше, как через 1000 лет.

Положим, что это с моей стороны небольшая придирка — считать так грубо и точно. Чтобы быть справедливее, скажу общее: у которой нет возможности *скоро* осуществиться, во всяком случае, например, на глазах автора теории.

Попробуем же с этих двух точек зрения: *качественной* связи с прошедшим и существующим и *количественной* (по течению времени) связи

с отдалённостью будущего сравнить между собою данные нам три примера: республику Платона, славянофильство Данилевского и теократию самого Владимира Соловьёва.

Окажется, с одной стороны, что и Платон, и Соловьёв тесно связаны и с *современными* им историческими обстоятельствами, и с представлениями о *прошедшем*; с другой же стороны, что Данилевский (да и вообще славянофилы всех оттенков) вовсе не такие простые консерваторы, какими их представляет автор.

Как ни высоко думали подняться над почвой Соловьёв и Платон, но всё-таки их приковывают к этой почве какие-то узы.

И с другой стороны, как бы ни желали держаться *видимых* основ Данилевский и его единомышленники, им ползать всё-таки нельзя, а приходится и взлетать, подобно мудрому Дедалу, освобождаясь из лабиринта теснящей мысль современности.

Разве Платон совсем уж не держался в теории своей более или менее готовых основ? Разве не видал он в современной ему Спарте некоего подобия своей республике? *Тройственное расслоение при строгой набожности*: спартиаты, лакедемоняне, илоты. Было ещё у него и другое *готовое* представление, тоже почти современное: касты Египта. Египет был уже завоёван тогда персами, но внутренний строй египетской жизни ещё не был настолько расшатан, чтобы не осталось от него и следов, как не осталось их позднее.

Значит, и Платон в своём идеале держался отчасти за современные ему данные; и в этом отношении он был гораздо «трезвее» многих нынешних утопистов, желающих *антистатического равенства*. Платон в полёте своём держался ближе их к «почве». Его теория в простом схематизме своём приложима, по-моему, даже и ко всем временам, ко всем нациям, ко всем культурам. Она находила себе оправдание в дальнем прошедшем Египта, отчасти в современном *религиозно-воинственном* состоянии Персии, отчасти в современном же богомольно-казарменном строе Спарты. И она же нашла себе оправдание и в будущем: менее ясное, конечно — в языческом Риме, где *воин царь стал богом*; в Византии, где преобладало священство учёностию и умом; ещё несколько более ясное в старой России (православной, дворянской и *крепостной*); самое же ясное, это правда, в романо-германском мире, до начала его разложения посредством восстания и торжества *средних и низших* классов, назначенных *самой природой* для повиновения, а не для господства и *необузданного рассуждения*.

К схематической республике Платона можно прибавить многое, но существенно расстраивать её трёхосновный план нельзя, не разрушая всего. Можно прибавить царя (из *касты воинов непременно*); можно из среды духовных мудрецов выдвинуть выше всех первосвященника; можно допустить по краям сословным гораздо больше движения. Можно с успехом сделать таким образом политический чертёж гораздо сложнее, как и сделала его история после Платона и в Риме, и в Византии, и в России *времен сословных* и особенно в романо-германской Европе.

Но как бы ни был сложен и разнообразно переплетён этот социально-государственный узор в действительной жизни *развитых* (но ещё не разлагающихся государств), *трёхцветность* эта, эта *трёхосновность* платоновская до того неотвратима, что она в искажённом, расстроенном, смешанном виде доживает с самим государством до его последнего издыхания под ударами завоевателя.

Возьмём хоть бы Францию современную. В ней всё смешалось, всё приблизительно уравнено; однако, никак и с католичеством (с духовными мудрецами) вполне прервать не удаётся, и сдерживать толпу *работающих и торгующих* без помощи *воинов* (полиции и армии) невозможно.

Итак, Платон, составлявший свой план идеальной республики как будто для греческих республик, *под влиянием современных ему представлений и прошедших основ*, написал его для *всего мира*; ибо, по моему мнению, если всё современное нам человечество (считая и *спасённые* до сих пор от либерального европеизма Ост-Индию и Китай) ещё не осуждено на *скорую гибель* (сравнительно скорую), *то где-нибудь* опять да явится эта *трёхосновность* или *трёхцветность* Платона, в новом и сложном виде: жрецы, воины, труженики; *духовное рассуждение, храбрость и власть, вещественный труд и повиновение*.

Его теория реализуема приблизительно везде и всегда, вследствие самой схематичности своей и неопределённой общности: она «трезва», если оглянуться назад, потому что уже неоднократно было и прежде реализовано *то же самое*, хотя бы и не в одинаковой частной форме. В Египте очень схоже, но богаче; в Спарте беднее, грубее, но близко; в начале афинской истории гораздо слабее, но тоже в роде этого (воинственностью правила религия); в современной Платону Персии попестрее, но на тех же основах, с перенесением *большой силы жречества*, так сказать, *на царя и воинов*.

Значит, и Платон не чужд ни своей со временности, ни основам прошедшего, знакомого и понятного ему. Это Платон; теперь г. Соловьёв.

Разве Влад. Соловьёв совсем оторван от *основ* данной ему *современности*? Разве он вовсе свободен от представлений, *благоприятных* прошедшему?

Напротив того, он в некоторых отношениях ещё гораздо больше связан *готовыми данными* жизни, чем Платон, с одной стороны, чем Данилевский и его последователи, с другой.

IV

Как бы ни был самобытен полёт нашей мысли и нашего воображения, но совершенно оторваться от исторических представлений и от современной почвы нам невозможно; и сам г. Соловьёв облёк, наконец, свои первоначально неясные мистические потребности в весьма конкретную и практическую форму примирения двух *современно* существующих апостольских христианских церквей. От *готового*, от *данного* прошедшей и современной историей и он не избавился. И не только он не избавляется от этого готового, но почти *предрешает* заранее *форму* этого примирения, склоняя весы свои явственно в пользу Рима, то есть прямо в пользу *старой*, давно помимо его фантазии существующей формы, быть может, с самыми ничтожными изменениями в уступку православию.

В этом отношении он гораздо выше и практичнее Макса Мюллера, желающего примирения всех религий земного шара в какой-то общей и никому не понятной вере. М. Мюллер надеется, «что будущие люди покинут многое из того, чему поклоняются и что проповедуют в храме индусов, в буддийской «вихаре», в мусульманской мечети, в синагоге еврейской и в христианской церкви; но каждый принесёт с собою всё лучшее из своего наследства, все высшие драгоценности души своей».

«Индус — свой врождённый скептицизм по отношению к этому миру и свою непобедимую веру в *другой* (невидимый) мир».

«Буддист — видение вечного закона; своё повиновение этому закону, кротость свою, сострадательность».

«Мусульманин — серьёзность своей души».

«Еврей — свою непобедимую привязанность, и в светлые, и в черные дни, к тому Единому Богу, который любит правду и которого имя есть «Сущий».

«Христианин, наконец (и это лучше всего), — любовь к Богу, каким бы именем вы Его ни называли: Бесконечное, Невидимое, Отец, Высшее, которое и выше всего и во всём».

Вот «Церковь будущего», по Мюллеру: без догмата, вся лишь из нравственных, добрых свойств и умственных смутных наклонностей составленная.

Разумеется, в этих строках М. Мюллера выражена одна из тех *морально-аморфических* европейских мыслей, которые доказывают и в этом случае умственную безвыходность современного прогрессивного Запада. Это место из М. Мюллера годилось бы в дополнение к той прекрасной книге г. Страхова «Борьба с Западом», на которую тоже, кажется, готовится возражать г. Соловьёв.

Пожалуй, эта мечта ещё «крылатее», чем идеальное по стремлению к совершенству, но весьма реальное по *основам* государство Платона и чем подчинение *определённого* существующего, *современного, данного* уже нам православия тоже *современному, тоже данному* и *ещё более, пожалуй, выработанному* и *определённому папству*... Но этот полёт учёного европейца есть уже прямо полет Икара, у которого воск на прилепленных крыльях растаял, и он потонул в тёмной бездне.

Г. Соловьёв не таков: он несравненно практичнее, он предлагает нам дело ясное, простое и, по-видимому, осуществимое. Стоит нам, восточным, признать только, что Патриархи Фотий и Михаил Керулларий были менее правы, чем римские папы их времени, и при этом смирить нашу *национальную* гордость, и примирение подготовлено.

Признаем ли мы это? Смиримся ли? и *когда?*.. Это, с его точки зрения, вопрос только практических препятствий: «Ce qui est différé n'est pas perdu!» Это в роде разрешения Восточного вопроса: «Carthago est delenda» — «Царьград должен быть взят». «И будет взят», но когда? Через год, через два? Или через 20 лет? Это расчёты приложения; это сроки практических препятствий. Во всяком случае, проповедь Соловьёва, по крайней мере, в общем представлении уже совершенно ясна.

Пади пред ним (пред папою), о Царь России!

И встань, как Всеславянский Царь!

И за эту почти до грубости доходящую ясность цели мы русские (в области *национальной* мысли ясностью вовсе не избалованные) должны быть Соловьёву как нельзя более признательны.

Наконец-то что-нибудь по осязательной цели *понятное*! Против ясного, против понятного и спорить легче. Знаешь, с чем соглашаться и чему противиться. Извольте, например, понять, чего хочет гр. Л.Н. Толстой, хотя бы по вопросу о *«невоспитании детей»* или о *«непротивлении злу»*. Я отказываюсь понять и знаю, что очень многие даже сомневаются, *думает* ли в самом деле гр. Толстой *то, что говорит*; слишком это уж бессмысленно и темно! Или потрудитесь также постичь Достоевского в его пушкинской речи об *окончательной мировой гармонии*! Не о космической, не об мистической всеобщей гармонии он, видимо, тут говорит. Нет! не о какой-то таинственной *«новой земле под новым небом»* он пророчит; в таком пророчестве, о таинственном, эта неясность была бы уместна... Но Достоевский, видимо, пророчит *окончательную гармонию социальную, историческую, международную*, имеющую водвориться только благодаря некоторому преобладанию русского народа с его *«смирением»* и вообще с его высшими нравственными качествами. Неужели эти высшие *специально-нравственные* качества у народа нашего уж так несомненны? Так ли надолго они устойчивы, если они даже и существуют в самом деле? *Хорошие русские* духовники и вообще монахи, зная народ, например, не хуже литераторов, не слишком-то с этим согласны; они, между прочим, находят, что у крестьян смирение значительно уменьшилось *со времён эмансипации*. Они находят ещё, что там, *«где недостаточен непосредственный страх Божий, посредственное влияние страха человеческого, т.е. начальства, весьма полезно»*. Дворянство от эмансипации много смирилось — это правда; мужик же значительно вознёсся. Удобно ли это для обучения в будущем всего человечества *любви и гармонии*, не знаю! Туманно это, как и многое в области русской мысли, и, должно быть, *именно благодаря этой патетической туманности*, речь Достоевского имела такой успех. Из туманного и слишком общего выходов много, и это многим нравится. *«Как хочу, так и пойму»*. Из этого же тумана великорусских нынешних мечтаний в своё время и даже очень скоро вышел на прямую дорогу и Вл. Соловьёв. Известно, что он прежде до того поклонялся Достоевскому, что даже придавал большое значение одному из самых слабых его романов, на крайне избитую тему написанному: *«Униженные и оскорблённые»*.

— Хорошо! — сказал, быть может, сам себе г. Соловьёв. Хорошо! Для реального осуществления этой благородной мечты учить других любви посредством смирения необходима *форма*. Без ясной и духовно-принудительной формы туман самый благоухающий и позлащённый рассеется. Надо его кристаллизовать; русское нравственное содержание (вера, смирение, любовь) должно быть замкнуто в крепкую догматическую и *властную форму*. У нас, восточных, веры ещё много; но власть церковная слаба. Я возьму с собою всё, что у нас есть хорошего: теплоту веры в народе, ещё не иссякшую; распущенную доброту нашу; это самое «смирение», которым восхищались так справедливо (?) и Тютчев, и все славянофилы, и Достоевский, и которое мы столько раз проявляли даже и в политической жизни нашей (призвание варягов, европейские реформы Петра и т.д.). Я отнесу всё это в Рим и повергну к стопам западного первосвященника. Восток всегда давал содержание, Запад — форму!

Не так ли думал Соловьёв, выходя из «облаков» Достоевского на свою твёрдую дорогу?

— Ясно, по крайней мере!

Желательно или нет — это другое дело. Осуществимо или нет, тоже другой вопрос. Я говорю — слава Богу, что ясно, наглядно донельзя, вполне *целеосмысленно*, так сказать. А мы давно уже от ясных и твёрдо стоящих на пути нашем целей отвыкли. Если нам это желательно, пойдём за ним; если нет, будем ему препятствовать всячески.

Ради Бога, дайте нам освежиться хоть сколько-нибудь на этом понятном, оформленном, ясном. Довольно с нас, довольно всей этой *испаряющейся* теплоты, всей этой *общей морали*, всех этих слов и чувств: *любви, смирения, гармонии*; всех этих благих и великих «журавлей», несущихся за облаками и без того ещё помрачённого и серого славянского неба.

Г. Соловьёв даёт нам *в руки нечто существующее*, реальное, хотя и освящённое мистическим началом и не мелкое что-нибудь, а в высшей степени интенсивное и широкое.

Мистический дух Соловьёва *воплотился*. Без *сильной духовной* (церковной) *власти не будет прочности даже и в той любви, в той моральной гармонии, о которой другие русские идеалисты так благородно заботятся!* Вот решение.

С этим (*вторым*) основанием нельзя не согласиться. Для всенародной морали необходима опора мистики. Твёрдость *видимой* этики зиждется

прочно на вере в *невидимое*. «Начало премудрости (нравственно-практической) — *есть страх Божий*» Страх Божий поддерживается превосходно *страхом человеческим* (жрецами в союзе с воинами); душа наша, и в особенности собирательная душа многомиллионных народов, удобопревратна и требует беспрестанно осязательных коррективов. Она требует безусловного авторитета и сильной власти как духовной (Церкви), так и мирской (государственной, царской)...

И тогда, успокоенные в *совести* нашей, обеспеченные более теперешнего в нашем *вещественном бытии*, мы, русские, научим и всех других людей: «гармонии, смирению, любви». Вот идеал.

Правда, что *после этого* церковного примирения, мы вслед за Соловьёвым опять вступаем *недоверчиво* в область слишком привлекательных моральных миражей, и полёт наш дальнейший (под его руководством) снова становится слишком уж *бесплотным*; но, во-первых, мы хоть на короткое время отдохнули на *вообразимом*, отвели душу на *осязательном* (на папстве в сочетании с русским монархизмом и т.д.); а во-вторых, всё *дальнейшее*, всё то прекрасное, что за примирением последует, может иметь уже несколько *апокалипсическое* значение. Значит, все-таки более *определённое*, чем хорошие чувства «любовь, гармония» и т.д. Предполагающий во всём этом нечто апокалипсическое видит всё-таки пред собою какие-то *пределы*, хотя и весьма растяжимые, как известно, но всё-таки пределы, данные нашей ненадёжной морали *извне Откровением* или той же «Церковью». Мы видим опять *форму*, правда, ещё загадочную, таинственную, но в существенных чертах всё-таки ясную: *будет конец свету земному, надо готовиться*; надо усилить христианство; надо возвеличить Христову Церковь; надо в ней слить воедино: чистоту предания (православие), духовную властность (Рим) и хоть некоторую свободу богословского движения (протестантство). И так далее. И это всё-таки гораздо яснее и твёрже русского «смирения», всеславянской «любви», всечеловеческой «гармонии» и т.д.

Разумеется, если бы в нынешних человеческих обществах хотя бы в течение нескольких веков, все реальные силы соединились (насколько это возможно), дружно стремясь к одной цели — утверждению вселенского христианства, то была бы и наша, эта земная, реальная жизнь иная!

Если бы философия стала вся, более или менее, богословскою, если бы наука стала вся более *пессимистическою*, чем теперь, если бы она говорила людям так: «Да, это правда, что я очень сильна, но всегда ли *полезна* вам была эта сила моя? *Едва ли!* Конечно, и моё *новое* теперешнее *самоотрицание* есть

плод науки; и это самоотрицание есть тоже наука; но мой грустный вывод не надмевает вас такими пустяками (машинами, напр., и т.п.), как надмевала людей XIX века *прежняя* их мещанская, улыбающаяся своему будущему всеторжеству наука. Мой вывод лучше, — он смиряет вас пред Непостижимым, перед Богом, перед Верой!» И ещё: *если бы побочный плод* векового христианского воспитания — сравнительная мягкость современных нравов, нелюбовь наша к *телесным* терзаниям ближнего (и даже врага), если бы гуманность эта наша (от которой, вероятно, и отделаться снова вполне мы уже не в силах), если бы она сопрягалась в глубине души новых людей не с самодовольством морального буржуа, как сопрягается она теперь, а со страхом Божиим и верою, если бы при этом *власти* уже *смягчённые* (историей, гуманностью и т.д.) прониклись бы надолго сами больше нынешнего всё тем же «страхом Божиим» вследствие более духовного всеобщего воспитания... Ну, конечно, жизнь будущих веков стала бы и легче, и благороднее, и душеспасительнее.

Элементы *неверия* не были бы, разумеется, дотла уничтожены (да они и нужны, вероятно, как противники для последних апокалипсических битв за Церковь Божию. «Враг» нужен вообще); но они были бы *подавлены жестоко даже и гуманными людьми* и восстали бы в силе своей много позднее для предсмертной, исступлённой борьбы, лишь пред вторым пришествием Христа.

Довольно с меня этого. В этом общем взгляде своём Соловьёв несомненно прав, *если только я его правильно понял*. Усиление Церкви крайне нужно; проникновение мистико-христианскими идеями спасительно даже и для приблизительного, для временного, для относительного *земного* благоденствия нашего. Россия, быть может, и в самом деле призвана сослужить именно *на этом поприще службу* всечеловечеству. Но относительно *формы*, но относительно *пути*, Соловьёв только *ясен*. Это я вижу; но я не знаю, *прав ли он?* И, даже мне иногда кажется, *что он вовсе не прав*. Мне всё кажется, повторяю это ещё раз, что он полезный, гениальный Колумб, стремящийся в Восточную Индию, не то чтобы не *зная* вовсе *Америку*, но умышленно *игнорируя* её. А, быть может, эта Америка *ближе*; быть может, она на *Босфоре*? Быть может, она (усиление Церкви) не в папо-цезаризме, а в каком-нибудь тоже очень ясном, тоже очень практическом, тоже весьма вообразимом, прочном и *небывалом ещё соборно-патриаршеском* устройстве. Это будущее устройство и с духом нашей Церкви сообразнее, и в нём могло быть и нечто всеобще-реальное, *органическое*, так сказать, вот почему: на Западе (во всецелости взятом) централизация единоличная была

только в Церкви; государственное начало было всегда и есть до сих пор *многолично и многовластно*. Не естественно ли по всеобщему закону полярности, что на Востоке *царь будет один над всеми*, даже и над мелкими царями; а *развившаяся дальше* Церковь станет *многолична и многовластна*, даже и при некоторой соборно-аристократической централизации на Босфоре? По моему мнению, к *этому ведут события*, дух времени у нас веет прямее в эту сторону, чем *на Запад*. Если успею, я разовью эту мысль мою позднее; она прямо истекает из того самого Данилевского, который так мешает Вл. С. Соловьёву. Здесь пока прибавлять нечего. Я, кажется, доказал, что и оба окрылённые мыслители, Платон эллинский и наш молодой мистик, вовсе не чужды ни современным им основам, ни «коренным» *грехам* данной действительности. Член демократизированной республики мыслил об идеальной и весьма сословной республике. Христианин нашего времени мыслит не о чём-нибудь действительно новом и небывалом, он мечтает о возвращении *вспять к частной форме*, к воссоединению церквей, уже проживших вместе веков десять и *потом ощутивших неотразимую потребность разделения*.

Что касается до выражения «коренные грехи данной действительности», то оно, вероятно, относится не к политическим основам России и не к экономическому расстройству нашему, которое (г. Соловьёв это знает) *никто* у нас увековечить не желает, а напротив того, все почти бьются о том, как бы исправить его. Вероятно, и это выражение «коренные грехи» обращено к строгим и слишком неподвижным, по его мнению, *охранителям православия*, к славянофилам прежде всего (ибо они люди мирские, не связанные *саном*, подобно духовенству, могли бы смелее двигать богословскую мысль, например, *в тот же Рим*).

Но тут как же быть: если я не ошибся, и под словом «коренные грехи данной действительности» Вл. Серг. Соловьёв понимает косность наших охранителей в идеях и формах восточного исповедания, то с ним совсем не согласны все четыре восточные патриарха и многие подчинённые им епископы в своём «окружном послании 1848 года».

Грехом они считают именно *католицизм римский* и даже дерзают его называть без стеснения *ересью* (стр. 9, русский перевод 1850 года)².

² Если с таким резким определением окружного послания восточных патриархов не совсем совпадают менее решительные и более снисходительные взгляды некоторых представителей русской иерархии, не раз приводимые г. Соловьёвым (наприм., мнения Митрополита Филарета и друг.), то это доказывает только, что *богословская работа Восточной Церкви ещё не окончена* и что предстоящее, при видимо благоприятных политических условиях, более тесное сближение с греками может произвести значительное оживление в

Как же быть? Кого же нам слушаться?..

Блестящего мыслителя и своевольно вдохновенного пророка русского или этих великих Греческих Патриархов?

В этих Патриархах, даже в случае величайших личных каких-либо немощей, преемственно (по теории самого Соловьёва) от апостолов и святых соборных отцов несомненно живёт и действует Дух Святой.

В этом же благородном, симпатичном, обворожительном, я готов сказать, философе русском, неизвестно ещё, *какой* дух обитает.

«Не всякому духу верьте!»

Можно, конечно, при помощи Божией, и действие сомнительных (я говорю пока только сомнительных, а не прямо вредных) духов обращать на пользу в будущем... Это правда...

«Но с величайшим самоохранением»... Да не преткнём об этот «камень» (tu es Petrus!) несвоевременно и без того нетвёрдую ногу нашу!

V

Все три теории: теория Платона, теория Влад. Соловьёва и теория Данилевского имеют своё достоинство, свою относительную приложимость в будущем и своё оправдание в прошедшем. Их вовсе не трудно примирить, все три, между собою; но примирение это легко только *в самых общих их чертах*. Данилевский говорит нам: Европа разлагается; *нужен новый культурный тип, новая государственная культура*.

Платон указывает нам, что без *некоторого порабощения* промышленного и земледельческого классов *мудрецам (жрецам) и воинам* не будет прочна никакая государственная система.

области православной мысли. Та самая теория «развития Церкви», которую, по-моему, основательно защищает г. Соловьёв, может быть приложена с *большими надеждами* к ближайшему будущему Восточной Церкви. Этим надеждам благоприятствует как некоторая неоконченность её системы, так и долгое *неподвижное хранение истины* её с одной стороны в наших русских доселе нетворческих руках, с другой же в утомлённых могучим прежним творчеством руках греков. Мне часто думается, не было ли в этом *неподвижном хранении до поры, до времени особого высшего смотрения?*

Влад. Соловьёв убеждён, что *без обновления теократических сил дальнейшая жизнь человечества будет почти бессмысленна*, а может быть даже и невозможна надолго.

Все три взгляда, как нельзя более согласуются и в этих общих основаниях, и в общем их практическом выводе: *нужен новый культурно-государственный тип*. Для того, чтобы он продержался несколько веков, ему нужна *более твёрдая, чем теперь, сословная организация*; во главе этой сословной организации должна стоять *духовная иерархия*, более независимая и от светской власти, и от народа, чем теперь.

Это относительно общих основ трёх теорий. Только они, *эти* общие основы, верны, или, по крайней мере правдоподобны, в том печальном смысле, что если уже нигде на земном шаре невозможны более ни новый культурный тип, ни крепкая сословность, ни покорность теократии, то всё человечество осуждено сперва на *демократическое всесмещение*, а потом на медленное вымирание или на внезапную гибель.

Если же этому *всесмещению* должен быть *на долгое* время, примерно на 10 веков или несколько менее, положен предел; то иного средства нет к воздвижению подобного предела, как целым рядом изменений, колебаний, смут, войн и примирений дойти до утверждения самобытного культурного типа, с *новой* сословностью и с *обновлённой* теократией.

Всё это так. Но когда мы обращаемся к частным, к прямым целям этих трёх теорий, тогда у нас возникают основательные сомнения; тогда невольно хочется ещё раз спросить: не в *Америку* ли они все нас ведут *вместо Ост-Индии*?

С Платоном это и случилось. Вместо Эллады приблизительное осуществление его идеала произошло через 1000 лет после него, в Европе.

Впрочем Платон видимо составлял *теорию для теории*; он писал для удовлетворения только собственной философской потребности определить вообще условия государственной *стойкости*. Когда современники его предлагали ему стать Ликургом или Солоном своей собственной теории, то он отказался, видимо, не веря в её *чистую и точную* приложимость. Веря в правильность общих оснований своих, он, значит, не верил в близкую возможность найти для своей общей идеи частную, конкретную форму. Он сам признавал в этом бессилие своё; понимал сам, в чём его собственно недостаток.

Частную эту форму, при всей верности общего положения, так трудно заранее определить, что и в том наиболее подходящем проявлении, на которое справедливо указывает Ранке, встретилось следующего рода противоречие.

С одной стороны, действительно похоже: папа и католическое духовенство, рыцари, подчинённые общины и рабочие. Но с другой стороны, эта самая эпоха, наиболее на государство Платона похожая, большинством историков считается *малогосударственной* эпохой, сравнительно с теми позднейшими временами, когда началось значительное перемещение социальных сил. Государственность европейская, в строгом смысле, начала более определяться и уясняться под конец этого *средневекового* периода; именно тогда, когда монархическая власть с одной стороны, а среднее сословие с другой, стали приходить в некоторое приблизительное равновесие и с иерархией, и с дворянством, то есть к эпохе возрождения и реформации, во времена Карла V, например, Франциска I, Генриха VIII, Елизаветы Английской, до времён Людовика XIV и Вильгельма Оранского в Англии включительно.

Значит, и *то вышло*, но не *совсем* то; и даже если взглянуть на дело с вышеуказанной точки зрения строго-государственной, то и *вовсе не то*. А всё-таки *основания* верны. И при Людовике XIV, и при Вильгельме Оранском и *религия* была ещё очень могущественна и *воинственное дворянство* ещё везде преобладало над средним и рабочим классами.

Платон, я говорю, и не определял с точностью ни *места*, ни *времени*, ни *частной* формы для осуществления своего идеала. Но Данилевский и Соловьёв гораздо более его определяют своим надеждам и *место*, и *частную* форму. О времени же они не говорят; они оба понимают, что это самый опасный камень преткновения. В *жизни* в этих *временах* и *сроках* иногда вся *сила*, но как их уловить и предречь в будущем?

Эта большая определённость пророчеств Данилевского и Соловьёва и составляет их сравнительную слабость. В этой именно большой *конкретности* скептический ум и может усмотреть их ахиллесову пятю.

Нужен новый культурный тип; *но славяне ли разовьют его*, как надеется Данилевский?

Можно ожидать обновления теократического начала, но будет ли эта теократия *непременно римско-католическая*, как верит Влад. Соловьёв?

Вот два вопроса!

Что славяне, с Россией во главе, произведут на время *некоторое* *уклонение* в русле всемирной уже *истощающей* свои силы, уже стареющей истории, это довольно правдоподобно. Что в уклонении этом будет довольно много *анти-европейского* или, точнее сказать, *анти-либерального, анти-современного*, это для успеха подобного отклонения даже *необходимо*.

Но дадут ли славяне *действительно* резкий и очень живучий, хотя бы и односторонний, культурный тип, или только будут кратковременно преобладать, в виде явления *переходного* к чему-нибудь более выразительному, это уже гораздо труднее, при нынешних данных решить.

История представляет нам несколько степеней подобных перерождений и уклонений. Возьмём три степени: 1) *греко-македонское владычество*, 2) *Рим и Византия*, 3) *романо-германская Европа*.

Греко-македонское владычество над соседним юго-востоком было сравнительно краткое. От Александра Македонского (323) до окончательного покорения царства Птолмеев Римлянами (30 л. до Р.Х.), всего 293 года. Следов культурной самобытности это владычество почти никаких не оставило. Было много учёности, творчества не было. Вся задача этого времени была, кажется, в том, чтобы смешать воедино посредством внешней государственной власти эллинизм с бытом восточных царств. Отчасти и в том, чтобы посредством взаимного проникновения эллинской республиканской муниципальности с азиатским мистическим царизмом приготовить почву римскому освящённому религией кесаризму.

Македонской литературы, македонской философии нет; есть только *греческая* литература и греческая философия; *при македонском владычестве* нет и македонского *государственного* учения, нет македонской *государственной культуры*; были только македонские *государства*.

Другое дело Рим и Византия. Эти оба типа уклонились несравненно дальше, чем македоняне, от всего предыдущего. Перерождение в них уже глубокое. Обе культуры, оба государства, прилагая к ним терминологию Данилевского, *одноосновные*.

У Рима своя великая *государственная система*, своё политическое учение, своя культурная государственность, а не просто *государство*, как было у македонских царей. У Византии *небывалая дотоле* великая *религиозная система*, своё резко от всего отделившееся *мистическое* учение, своё первое, по времени, в мире *христианское государство*.

В изящной литературе Рим языческий был ещё довольно самобытен и *лиризмом*, например, пожалуй, что и превосходил Элладу; красноречием тоже славился. Но о философии римской и не говорит никто; *быт* римский очень походил на быт Эллинов, проявляя, однако, под конец всё сильнее и сильнее склонность к более богатым азиатским внешним формам (модам, обычаям и т.д.) и к восточному, *более сердечному*, мистицизму. Но в сфере юридической, политической, государственной Рим был вполне культурен, т.е. *самобытен и могуч*. Он был с этой стороны не только владыкой мира, но и *наставником* ему. Это его великая *одноосновность*.

Одноосновная же, подобно языческому Риму, была и христианская Византия. Это было, как уже сказано, *первое в истории государство христианского исповедания*. Это обстоятельство, не знаю, почему, очень многими забывается.

Даже сам Данилевский, перечисляя все культурные типы, *забыл Византию*. Говоря именно об одноосновных культурах: еврейской, эллинской и римской, он должен бы был к этим трём прибавить и *четвёртую одностороннюю цивилизацию, именно эту византийскую*.

Всех культурных типов у Данилевского перечислено *десять*: 1) *египетский*, 2) *китайский*, 3) *халдейский* (ассиро-вавилоно-финикийский), 4) *индийский*, 5) *иранский* (персидский), 6) *еврейский*, 7) *греческий*, 8) *римский*, 9) *новосемитический*, или *аравийский* (мусульманский) и 10) *романо-германский* (европейский).

Не могу понять, почему *одиннадцатый* тип, византийский, им пропущен? Он упомянул даже особо о двух скоро погибших культурах нового света, *мексиканской* и *перуанской*, которые находились в ещё большем, чем китайцы, обособлении от всего остального исторического мира. О китайцах древние всё-таки имели смутное понятие и звали их *серами*...

«Дрожат ли пред мощным в восточной пустыне индейцы и *серы*?» — говорит императору Августу Гораций.

Но об Америке никто до Колумба не знал.

По-моему, оставляя в стороне Перу и Мексику, *исторических* культурных типов надо считать *одиннадцать* с *Византией*.

Впрочем, говоря о религиозной одноосновности византийской культуры, в государственном отношении бывшей в значительной мере продолжением Рима, не надо забывать о богатой её литературе догматически-философской,

богослужебно или молитвенно-лирической, нравственно-аскетической и церковно-исторической (*Жития*, например). Всё это было в *высшей степени* самородно, оригинально, ново. Дух во всей этой литературе единый, творческий и *дотоле небывалый*: роды литературные почти все: от лиризма акафистов, канонов и тропарей, пожалуй, даже до некоторого подобия драматизму в богослужебных действиях.

Если про римскую лирику и красноречие можно сказать, что они и рядом с греческими образцами не теряют ничуть своего достоинства и даже имеют за собою некоторое преимущество (лирика римлян, несомненно, очень романтична, горяча, развита, искренна), то как же можно было забыть об этой *духовной* византийской литературе, которая до сих пор, конечно, *живёт* и при этом неизмеримо *популярнее* и Гомера, и Шекспира.

Если вспомнить и обо всём этом, то хотя, пожалуй, тип Византии всё-таки останется *одноосновным*, ибо литература эта от религии в этом новом типе так же неотделима, как и у Евреев, но признать вообще особое и величайшее *культурное значение* этого типа станет очевидно необходимым. Наконец, можно ли было забыть, что та же Византия дала миру неподражаемые и недостижимые образцы всех родов церковного искусства: в зодчестве — св. Софию, в иконописи — Панселина, в пении — все бесчисленные божественные напевы, коими оглашаются и — как можно верить — до конца мира будут оглашаться во всей вселенной православные храмы?

Византия прожила с лишком 1000 лет, подобно Риму, так что ни Византию, ни Рим нельзя считать только чем-то переходным, вроде греко-македонского владычества. И продолжительная жизнь, и внутреннее *самобытное содержание* у них, всякий знает, неизмеримо высшее.

За Римом и Византией возникла романо-германская культура, гораздо более их сложная, богатая и, во *всёцелости* *взятая*, по отношению к *прошлому* в высшей степени оригинальная!

Не *две* основы — научно-художественную и государственную — надо признавать в ней, как признает Данилевский, *но три*, ибо нравится ли нам католицизм или нет, но не признавать его истинно великой религией было бы большой и *тенденциозной* натяжкой.

Исказил ли римский католицизм христианство, по Данилевскому и другим славянофилам, или он развил его правильно, по Соловьёву; во всяком случае, чего же ещё могущественнее, самобытнее в истории, *новее в своё время* и влиятельнее, как папский этот Рим! И косвенные его воздействия, и

самые *антагонистические отражения* бесчисленны и в культурном смысле многоплодны.

Итак, относительно будущего России весь вопрос сводится к тому, чем она может быть при устарении Европы: государством ли без *особой*, без поражающей ум *государственной системы*, наподобие македонских царств, или *одноосновным культурным миром*, какими были Рим языческий и христианская Византия; или *трёхосновным столь же содержательным типом*, как романо-германский мир.

Или, наконец, превзойти и этот последний богатством своим, дать вселенной впервые пример *типа четырёхосновного*: то есть *решить лучше* (не *окончательно* — это невозможно — а *только лучше*), чем смог в своё время решить мир романо-германский, *все четыре* главные, основные вопроса исторической жизни: религиозный вопрос, государственный, экономический и художественно-философский.

Над всем этим можно и *должно* задуматься.

Данилевский надеется на то, что Россия и славянство призваны дать по его же теории неслыханный доселе этот *полный четырёхосновный тип*, с *преобладанием*, впрочем, *специально-экономического* самобытного призвания.

Я же, не распространяясь на *этот раз* более, сознаюсь здесь только, что из перечисленных выше *четырёх* призваний нахожу *первое* (македонское) для России слишком ничтожным, а *последнее* (*полную четырёхосновность*) слишком богатым и самобытным. *Не похоже*; лестно, но неправдоподобно что-то. Похожее всего Россия на языческий Рим *по своей судьбе*. *Не слишком оригинальна*; имеет в себе нечто действительно примиряющее крайности и в то же время медленно, но неотразимо и неустанно *завоевательна*. Правда, сходные с римлянами по судьбе, мы не похожи на них по характеру. Римляне гордились и открыто похвалялись своей завоевательностью; мы же, по крайней мере *теперь*, ужасно стыдимся в этом сознаваться. Но этот ложный стыд, слава Богу, — ничуть не мешает нам *делать то же самое*, что делали римляне.

Кто знает, быть может, *так и нужно*! Быть может, это лицемерие наше, или наш этот непостижимый самообман сообразнее с «духом времени», чем была бы нынче римская, более откровенная метода.

Я сказал, что, размышляя о книге Данилевского «Россия и Европа» и принимая за истинное открытие его общую мысль, его *теорию смены культурных типов*, можно всё-таки иногда усомниться в том: *мы ли — славяне*, способны дать истории *истинно новый* культурный тип или надо ждать его *позднее* из обновлённого Китая или пробуждённой Индии? Можно также повторить себе вопрос, что мы такое: в высшей ли степени свежие и потому оригинальные варвары, вроде германцев, бессознательно определивших (лет 1000 и более тому назад) своими нашествиями и завоеваниями будущий стиль западной цивилизации, или же только несравненно менее оригинальные (и очень схожие с эллинами) римляне, которые уже в полном развитии государственных сил своих стали преобладать политически над соседями разного рода и проникаться их культурными и религиозными началами?

На такие вопросы, конечно, можно дать в разной степени отрицательные ответы; на *второй* решительнее, чем на *первый*. Увы! Конечно, мы давно уже не варвары *в хорошем* (в корень обновляющем) *смысле* этого слова! Мы *разве только римляне*, и то не характером души нашей, а судьбами нашей истории.

Но ведь и римская республика была не совсем похожа на эллинскую; и римская империя была слишком многим непохожа на восточные царства. Помирился можно и на этом; и с этих точек зрения не только можно, но и следует возражать Данилевскому, чтобы избежать глубокого и горького разочарования в будущем.

Но уверять, что Данилевский «пресмыкается» мыслью, что он держится слишком сильно за *данную* действительность; находить, что идеализм его такой уже «поверхностный», как находит и уверяет автор «Национального вопроса» и «Религиозных начал», — это непостижимо!

Неужели Данилевский в самом деле так привязан к современности русской!?

Сам Данилевский, положим, с точностью и прямо об этом вопросе не высказывается; ибо ему, естественно, и в голову не могло прийти в то время, когда он писал свою книгу, что его кто-нибудь может обвинить в простом консерватизме. Он сам понимает, что нужно много усилий для совращения

нынешней России с пути того европеизма, на который ввёл её своими реформами Петр I. Значит, он готов даже и на такие крайности, которые бы противоречили *основным* стремлениям Петра и состояли бы с ними в естественном антагонизме. Явно из этого, что Данилевский стоит за *движение вперёд*, за сильный и бесстрашный процесс *развития*, а не за одни «данные» современности.

Понятно, кроме того, что под развитием он понимает вовсе не «конституцию» — не дальнейший и неуклонный эгалитарный процесс и не какое-нибудь пустое распространение так называемых «знаний» в народе. Это было бы с его стороны слишком глупо и уж совсем по-«европейски», совсем в дурном смысле «современно».

Правда, Данилевский в некоторых местах сбивается ещё на нечто почти общепринятое у нас в 60-х годах; он не в силах отрешить вполне свою мысль от впечатлений того эмансипационного периода, в котором он сам жил, развивался и писал свою книгу. Сочинение это обширно, изложено систематически и зрело обдуманно. На это нужно было *время*. Сочинение было напечатано впервые в «Заре» 69 года.

Допустим, что оно было обдуманно и писалось в промежуток между польским мятежом и франко-прусской войной, пред началом которой оно и появилось. Эти года от 63 до 69-го были временами наибольшего средне-либерального самодовольства нашего, и Данилевский (человек 40-х годов) не мог не заплатить этому дань. Реформами и он был доволен; с *европейскими* судами он мирился, утешая себя даже весьма ребячески тем, что и в *англосаксах когда-то было много славянского*, что у нас в древней России были когда-то «губные старосты» и т.п. Отзываясь с большою историческою благодарностью о крепостном (уже уничтоженном) праве, считая это право в своё время необходимым для устройства Руси, он однако не разделял в перевороте 19 февраля 61 года двух противоположных сторон: *лично* либеральной (европейской) от *консервативно-коммунальной* (русской). Рискованное *освобождение* от власти помещиков он ещё не различал глубоко от *спасительного прикрепления* народа к земле; не различал в том смысле, что, основательно восхваляя *последнее*, слишком доверчиво, сочувственно относился и к первому. Он говорил, что, пройдя сквозь вековое и необходимое воспитание крепостничества, народ теперь созрел для «гражданской свободы». Это всё, конечно, остатки *современного* «европеизма», и в этих случаях его мысль действительно «пресмыкается» и даже бессильно бьётся в либерально-эгалитарных силках. Но кто же в то

время был от этих силков свободен? И Катков, и Хомяков, и Аксаков, и Самарин — все так или иначе были ослеплены и запутаны в них! Катков полжизни был полулиберальным европейцем.

У всех умов есть предел понимания, дальше которого они шагнуть уже сами не могут. Кто бы подумал, например, что поэт Гёте мог сочувствовать мысли о *прорытии Суэцкого канала*! Поэт объективный, пантеистический жрец разнообразного развития жизни, не мог понять, что все эти пути сообщения любимому им разнообразному развитию — гибель через то вавилонское *смешение*, которое от них происходит.

Вот так и Данилевский. Он и не мог ещё в *то время* понять, что весь эмансипационный период наш есть ничто иное, как горький политический опыт, и что для будущего и самой России, и всего славянства предстоит неизбежно жестокий выбор между двумя путями: или создать в недрах своих новые формы определённой и ясной *общинности и сословности* (опять нечто вроде Платона), развить и утвердить над своим социальным миром нечто подобное той самой *теократии*, которую ищет и г. Соловьёв (только *не непременно* в Риме, как он), или же вступить, после непродолжительной и неудачной *реакции*, снова на тот «просторный» путь, по которому шаг за шагом готовы вести нас наши «средние» западники в объятия интернациональной Европы (и уж конечно не в догматический и авторитетный Рим). И много, очень много с этой точки зрения фальшивого и необдуманного можно найти, к сожалению, в книге Данилевского. Сюда ещё относится его доверчивое *славянолюбие* в тесном смысле, его вера в само племя славянское; тогда как нужна вера *не в само это отрицательное племя*, а в счастливое сочетание с ним всего того *получужого, преимущественно восточного* (а кое в чём и западного), *которое заметнее в России, чем у других славян*. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (*Восточного*) христианства (православия), в плодотворность *туранской* примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное *intus-susceptio* властной и твёрдой немецкой крови и т. д.

Чем больше в нас, славянах, будет *физиологической примеси* и чем больше в то же время *религиозного единства* между собой и *бытового обособления* от Запада, — тем лучше! Будет и гораздо больше *идеализма* для себя, и несколько больше той *насильственности* для других, на которую вовсе неосновательно нападают и сам Данилевский, и все остальные славянофилы. Я дальше надеюсь доказать, что и самому г. Соловьёву

необходима некоторая доля этой насильственности в русских для его же собственных планов.

У Данилевского таких либерально-европейских ошибок очень много, и не в них, конечно, его заслуга. Заслуга его в том, что он той самой теорией *культурных типов*, которую Вл. Соловьёв собирается опровергнуть, дал нам нечто вроде научной основы для избрания дальнейшего *самобытного исторического пути* (если возможно), или по крайней мере дальнейшего *исторического мышления*, если паче чаяния мы даже и в *римляне* не годимся, а имеем только одно, почти механическое (македонское) призвание очень большой и неотразимой метлы *всесмещения* от Великого Океана до Атлантического и от родины орангутанга и слона до отчизны моржа и белого медведя.

И для такого почти отрицательного призвания нужны идеи *анти-европейские*.

Я сказал «паче чаяния» и, конечно, спешу это ещё раз повторить.

Пессимист, так сказать, *космический*, в том общем смысле, что зло, пороки и страдания я считаю и неизбежными, и косвенно полезными для людей «дондеже отъимется луна», я в то же время *оптимист для России*, собственно для её ближайшего будущего, оптимист *национально-исторический*, и только.

Я не могу, например, просто отогнать мысли, что Данилевский прав, полагая, что Россия (или всеславянство) решит со временем наилучшим образом *собственно экономический* вопрос. *Ведь он на очереди*; этого *скрыть* нельзя; и *мы на очереди*...

Глубина нашего хозяйственного расстройств, надеюсь, приведёт нас не к гибели, а к *вынужденному* обстоятельствами самобытному *творчеству*. Решение это может приобрести позднее и всемирное значение, хотя всё-таки *не окончательное*, как желали бы многие; ибо ничего окончательного в смысле всеобщего и вечного удовлетворения на земле *никогда и не будет*. Не будет этого окончательного до тех пор, пока не случится то, о чём говорит сам г. Соловьёв в прекрасной книге своей «Религиозные основы жизни». «Наука (говорит он на стр. 4 и 5), занимающаяся общими законами и свойствами вещественных явлений (физика), приходит в наиболее глубокомысленных своих взглядах к тому откровению, что как все явления в мире суть лишь различные виды движения, обусловленные *неравномерностью* того общего движения в телах, которое называется

теплотой, и как это последнее непрерывно уравнивается, то, при окончательном его уравнивании, *всякие явления в мире неизбежно прекратятся, и вся вселенная разрешится в одно безразличное и неподвижное бытие*».

Вот *это* в самом деле *окончательно*! И к подобному концу мы должны непрестанно обращаться с религиозными помыслами нашими, подчиняя им наши исторические взгляды... При этом, однако, и о *временных решениях, улучшениях и утверждениях* мы не только имеем право думать, но мы, по самой подвижной природе нашей, *вынуждены* о них заботиться.

Раз же предположивши, согласно с Данилевским, что мы решим наилучшим (то есть *сносным* и в сносности этой *довольно прочным*) образом экономический вопрос, мы можем уже на одном этом основании приравнять себя по крайней мере к римлянам, односторонним творцам неслыханного до них *государственного и гражданского права*, а уж не к македонским завоевателям, которых вся задача, кажется, состояла только в том, чтобы греческих республиканцев приучить к жизни *под царями*, а восточным людям показать, что, кроме богов и царей, бывают ещё на свете Софоклы и Сократы, Платоны и Фукидиды.

Нет! Этого нам уж слишком мало!

VII

Человечество стало теперь несравненно самосознательнее против прошлого, и *теории* ему в наше время нужнее, чем когда-либо.

Покойный И. С. Аксаков любил говорить, что «историческое сознание следует теперь по пятам за событиями». Эта неустранимая потребность сознательного отношения к жизни не может (именно вследствие силы своей) удовлетворяться только одними объяснениями прошедшего, но ей естественно нужны и реальные пророчества будущего, хотя бы ближайшего.

Без какого-нибудь, хотя бы и неясного, плана и в старину не действовали, тем более необходимы теперь эти планы, эти теории. Они должны быть в *наше время* даже много *яснее* прежних, избегая только с одной стороны излишнего предрешения *подробностей*, а с другой — *не забывая силы сроков*.

Данилевский даёт нам твёрдый фундамент в Православии, в Царстве, в общине поземельной. Он не запрещает нам строиться выше, *по-нашему*, на этом основании. Он окрыляет нас надеждами на твёрдом народном якоре. Держась за некоторые общие, *готовые данные* «почвы», он не стесняет ничем дальнейшего полёта русской мысли. Напротив того, он рассчитывает на этот полет; он его подразумевает, и нигде не видно, чтобы он считал *формы* русской жизни *60-х и 70-х годов окончательными*. Хорош был бы такой *культурный тип*.

У нации с истинно культурным типом и самая одежда, и самые обычаи должны быть оригинальны; моды, пляски, приличия, вся эта внешность должна стать более или менее своею. Это *вернейший* даже признак созревающей самобытности. Эта внешность вовсе не пустяки, не форма без содержания, как ошибочно думают многие. Это такой же важный признак, как *формы цветов на растении*.

Нет ещё ничего подобного — значит, *мысль своя не созрела*; значит, *вкусы свои* ещё *не страстны и не смелы* в своём своенравии; потребности *свои* не сильны, робки, *недостаточно идеальны*... *Вот то*, например, в чём мы самобытнее всего, сильнее, независимее всего, *в области церковной*, тут у нас, у *восточных*, и всё это внешнее оригинально и красиво.

И Данилевский, этот серьёзный, отчасти нелюдимый (как слышно было про него) человек, *заботится об этой общественной внешности*. Он посвящает этим *модам* и внешним обычаям несколько превосходных страниц.

Он понимал, что это *внешнее*, не говоря уже об эстетическом значении своём, имеет ещё и другое значение, значение субъективное: оно есть признак зрелости национального духа, вступающего наконец *во все свои права*, ищущего во всем живой индивидуализации своей.

Я не имел счастья знать лично Данилевского, я никогда не встречался с ним; но г. Страхов, бывший ему другом, может, вероятно, дополнить многое недостающее в книгах его из тех бесед, которые он с ним вёл в последние годы.

Был ли Данилевский эстетичен в *личной жизни* своей, я не знаю, и это другой вопрос (иные поэты и даже художники сами прескверно живут в отношении вкуса); но из книг его явствует, что во взгляде на жизнь он был и эстетик. Могла ли ему нравиться, особенно в последние года отрезвления, современная ему Россия, на три четверти, я думаю, европейская и не на

рыцарский, конечно, или католический лад, а на прогрессивно мещанский и в высшей степени пошлый, даже нередко и в самых добрых наклонностях своих! Я уверен, что и самое уединение его в Крыму, кроме близости к столь хорошо понимаемой им природе, нравилось ему ещё и тем, что отдаляло его от центров нашей мелкой, но подавляющей европеизации!

Нет, он не ползал! Он вперёд рвался мыслью, и если он в своей книге и увяз одной ногой в реформенной трясине, то что ж делать — *предел*! Можно простить это ему за тот умственный фундамент, который он нам дал, за тот общий очерк плана, который он нам начертил, предоставляя нам самим развивать, что можем, дальше, не выступая из основных его границ!

Что Данилевский имел в виду преимущественно *будущее* и даже во многом *небывалое*, доказывается, между прочим, и тем, что он считал невозможной выработку этого *нового культурного типа прежде разрешения восточного вопроса*, прежде присоединения Царьграда и образования конфедерации славянской (так он говорил), *восточной* — как я выражаюсь.

Разве это *данная* действительность?

Пусть и в представления этого союза вкрались у него и либеральные, и старославянские, и даже некоторые общеевропейские привычки, но где же тут *застой* мысли? Где «данная действительность»? Не знаю! Напротив, скорее у г. Соловьёва действительность и *данная*, и *бывалая*, и даже значительно *старая*. *Папство есть и было; общая жизнь* у двух церквей уже была и расторглась с *полным и страстным сознанием своей правоты с обеих сторон*.

Но *конфедерации славянской* (или восточной, считая и греков, и румын, и, вероятно, и турок с персами) *под гегемонией Русского Царя* — *не было никогда*. Царьград русским никогда тоже не был. Русские с греками никогда в прямом, узаконенном *союзно-политическом* общении ещё *не жили*. *Церковной тесной и совместно-равноправной жизнью* тоже ещё не пытались жить; ибо в первоначальной зависимости России от вселенского патриарха не было ни *физической* близости, ни *идеальной* равноправности. *Идеально* Россия была подчинена тогда грекам вполне; *реально* в подробностях жизни была от них независима. После разрешения восточного вопроса это *тесное, новое и равноправное* общение станет неизбежным.

Какой бы то ни было, хотя бы и постоянно *соборной централизации* восточных церквей также никогда не бывало. А это в той или другой форме тоже станет необходимым, ибо одним союзом *любви к общим преданьям*

теперь плохо стало жить; *предания тают*, под влиянием всех этих «Вестников» и провозвестников Европы!

Придётся *стягивать* всё или дать волю таянию и гниению. Всё это вовсе новое, небывалое положение дел. Оно имеет свои ужасные опасности (особенно со стороны многочисленной общелиберальной интеллигенции юго-славянской, русской, греческой, румынской): но где же тут «ползание», пресмыкание мысли? Не вижу!

Где же одна лишь *данная* действительность? Разве в сохранении православия, но и то с подразумеванием, конечно, возможности развития *вглубь*, а не только распространения *вширь*?

Разве в признании необходимости вечного самодержавия (для России и славянства *вечного*, а не для всего мироздания, разумеется)?

Но «Восточный Царь» необходим и самому г. Соловьёву для его высшей цели. Самодержавие наше должно пребыть сильным и даже возрасти для внешней и наилучшей опоры папству.

А может ли само самодержавие продержаться до столь *не близкого ещё* дня примирения без силы веры православной в народе? Может ли сила этой веры в народе держаться *теперь долго без сильной организации нашей Церкви*? Едва ли! Значит, если для папы нужен «Восточный Царь», если для «Восточного Царя» нужен *восточно-православный народ*, то для пользы папства даже надо *поберечь* Православие.

Я сказал — «не может продержаться *долго*» сила веры без силы иерархии. Тут вся трудность в *сроках*. И определить их с точностью редко возможно, и не признать их могущества нельзя.

Неужели высока и достохвальна только та теория, которой нужно, подобно Платоновской, ждать 1000 лет для своего наияснейшего осуществления? А если пророчество, хотя бы и в приблизительной форме, осуществляется через 200—100 или 75 лет, то неужели это пророчество будет вовсе поверхностное в идеализме своём?

Неужели всегда только та теория выше, которая *менее правдоподобна*, по признакам текущего времени, у которой меньше реальных намёков в современности, меньше надежды в *ближайшем* будущем?

Это было бы уж слишком идеально! Сообразно этому взгляду, моральная всерелигия М. Мюллера — самая лучшая из теорий.

Для осуществления *чего-то подобного* тому зданию, которое можно строить на фундаменте Данилевского, много есть признаков уже и теперь, есть много весьма благоприятных условий...

Где же в нашей жизни *теперь* признаки благоприятные для успеха у нас католической проповеди? *Их вовсе нет*. И я, который пишу отчасти тоже против г. Соловьёва, ещё один из самых благоприятных его идеям русских людей. Другие, по разным причинам (не всегда одинаково умным и хорошим), отступают чуть не в ужасе от его мыслей, даже и восхищаясь его талантом. Я же, хотя и не без оговорок обязательной православной богобоязненности, но считаю всё-таки его проповедь не только гениальной по таланту, но и *весьма полезною* по общедуховному, ко внутренней дисциплине склоняющему, влиянию. Много ли в настоящее время русских, относящихся к трудам г. Соловьёва так, как я отношусь, восхваляя *общий* дух и *не смея* сочувствовать его прямой цели? Много ли? Знаю ещё двух-трёх людей — не более... А число приверженцев Данилевского всё растёт и растёт...

Я скажу даже, что я не счёл бы себя вправе, если бы и мог, *самолично* и *своевольно*, без повеления иерархии нашей, слишком грубо противиться этим идеям о соединении Церквей. Ибо, *что не нужно*, то откинется, а *что хорошо*, то останется от этой проповеди и от этих пророчеств.

Я сознаюсь только, что *я не верю* в возможность этого рода *соединения* — в форме смиренного подчинения папству. Не верил бы даже и тогда, когда *имел бы право* находить это (ни у кого высшего не спросясь) безусловно правильным.

Не всё правильное сбывается, и не всё желательное правдоподобно.

Гораздо более близким и вероятным, *по всем признакам времени*, мне кажется иное.

Вот что:

Внешние *вещественно-исторические*, так сказать, *толчки* были всегда необходимы для внутренних переворотов: душевных, умственных, духовных. Петру I, для легчайшего проведения европейских реформ, понадобился новый центр — Петербург. Св. Константин, перед водворением христианства, перенёс столицу свою из Рима в Византию. Небольшое *светское владение* папы, давшее вначале римскому епископу большую вещественную свободу, позднее, длинным рядом умственных движений и психических туда и сюда толчков, привело к провозглашению *догмата* его духовной непогрешимости. Падение Византии и бегство из неё учёных греков, через одно только

физически-облегчённое распространение древних книг, ускорило наступление времён «Возрождения». Один учёный богослов в частном разговоре сообщил мне однажды вот что: «На Западе до крестовых походов почитание Божьей Матери было вовсе не так развито, как у греков; во время крестовых походов, под влиянием греков, враждебные им латиняне стали относиться к этой стороне веры иначе и, вскоре после этого, по присущей им страстности, далеко превзошли восточных христиан в превознесении св. Девы Марии».

Не знаю, был ли этот учёный человек прав; я беру на себя ответственность не за *самый факт*, а только за вывод из него или за *приложение*. И это пример внешнего толчка, глубоко и неотразимо потом воздействовавшего на изменения сердечные, умственные и духовные.

Теперь чувствуется везде потребность обновлённой дисциплины, и если только возможно — *внутренней*, из согласования убеждения с понуждением исходящей.

В России, сам г. Соловьёв это признаёт, только начинаются и растут религиозные, мистические «веяния»...

Если при этих психических, при этих умственных условиях в скором, исторически скором, а не лично-человечески, времени произойдут те *перемещения политических сил*, о которых я не раз говорил, на которые и Данилевский так надеялся: то многочисленным, но мягким русским и малочисленным, но твёрдым грекам придётся из самосохранения *неизбежно* искать друг в друге точку опоры. Вражда греков к юго-славянам совпадёт при этом с нашим (слава Богу!) в них современным разочарованием.

Вот внешний политический толчок! Вот новое поприще действий и чувств! И таких разнородных толчков в эту сторону будет много.

Русские славяне из кучи мелких, диких и несогласных княжеств *создали сами новое* великое и просвещённое царство.

Византийские греки, на основании евангельских и апостольских данных, хотя и Божественных, но (*разумеется* — промыслительно) ещё общих и для подробного приложения неясных, *создали гораздо раньше латинян новую*, мировую, ясную и сложную ортодоксию.

Пусть эти русские, *столь государственные*, и эти греки, *столь церковные* в истории своей, пусть они *тогда* протянут искренно друг другу руку в *небывалом* ещё доселе *физически тесном* общении!

Пусть случится это на том самом Босфоре, про который Наполеон I говорил: «C'est l'Empire du monde!» и где, кажется, и Фурье хотел основать резиденцию своего Всеземного *Омниарха*, как главы *градативно* друг над другом возносящихся *общин*.

И тогда? Тогда отчего ж и не произойти *всё тому же соединению Церквей*?

Только иным обратным движением: *духовной победой Востока над Западом*.

— Мы перетянем к себе тогда католиков.

И такое соединение не будет уже, вероятно, иметь в себе вида ни знакомого и уже давно *данного* нам римского католичества, ни «старого», так сказать, русского Православия, *неподвижного и безвластного*.

А будет это Православие *полуновое*: догматически по-прежнему верное, *на своём корню* незыблемое, исторически же и канонически глубоко изменённое и широко над всем разросшееся.

Припомним: все влияния Запада на Восток были эфемерны и поверхностны; всё же воздействия Востока на Запад были прочны и хотя тоже не вечны, но оставили глубокие следы.

Не лучше ли нам пока *поберечь* с любовью это православие, хотя бы для *личного* спасения *по-нашему* и «западных» душ. Хотя бы и для того, чтобы лет через сто (положим) в случае неудачи самобытного развития церковных сил нам было бы *с чем* (а не с пустыми руками безверия) и в Рим пойти.

Не будем мы тогда православными, так и не власти наши духовные и светские пойдут «в Каноссу»; а поедет туда скорее всего один из потомков Захария Стоянова или гг. Стасюлевича с Пыпиным, чтобы убить последнего преемника папы Льва XIII.

Желательно ли это?

VIII

Назвавши теорию Данилевского «ползучей» за то, что он крепко держится за современные основы русского общества, г. Соловьёв начинает по частям уничтожать его надежды на будущее.

В напечатанной первой статье, сверх этого общего обвинения в «пресмыкании» по своей национальной почве, есть четыре особых отдела: 1) об *общине поземельной*; 2) о русской *науке*; 3) о русской *философии* и 4) о русском *искусстве*.

Г. Соловьёв ни на что из перечисленного не рассчитывает. Поземельная община не спасает земледельческий класс от пауперизма. Она существовала у многих других народов в первобытный период их истории и потому ничего *особого славянского* собою не представляет.

Русская наука *теперь* в упадке. Русские учёные становятся собирателями материала, чернорабочими.

К *чистой* философии русские не расположены. Они хотят *жизни*. К мистической философии они более склонны; но и та уже не может процвести на почве *национального мистицизма* (на почве православия).

Искусство наше есть лишь отрасль общеевропейского искусства; это во-первых. А во-вторых, и оно *в настоящее время в упадке*.

Время процветания литературы нашей г. Соловьёв считает (включительно) от «Евгения Онегина» до «Анны Карениной».

Есть во всём этом много печальной правды относительно настоящего; есть и по отношению к ближайшему будущему много неприятного правдоподобия в отрицаниях автора.

Но с другой стороны, так как в самых отрицательных явлениях жизни кроется всегда зародыш чего-нибудь им *антитетического* или *положительного*, то некоторым из этих отрицательных полуистин г. Соловьёва можно прямо радоваться, а насчёт других быть в благоприятном сомнении и спросить себя: так ли это?

В оправдание Данилевского можно прежде всего сказать, что он по всем признакам никак не мог смотреть на *современную* нам земледельческую общину, как на идеал. В. Соловьёв говорит, что «общинное землевладение *само по себе*, как показывает статистика, совсем не благоприятствует успехам сельского хозяйства. Община обеспечивает каждому крестьянину кусок земли; но она никак не может обеспечить ему урожая или возратить производительные силы истощённой почве». Это всё правда; но само собою разумеется, что и Данилевский нынешнее положение общины и сельского хозяйства в России не мог считать чем-то неподвижным и окончательным.

Вот собственные слова Данилевского:

— «В отношении к общественно-экономическому строю Россия составляет единственное обширное государство, имеющее под ногами твёрдую почву, в котором нет обезземеленной массы, в котором, следовательно, общественное здание зиждется не на нужде большинства граждан, не на необеспеченности их положения, где нет противоречия между идеалами политическими и экономическими».

«Условия, дающие такое превосходство русскому общественному строю над европейским, доставляющие ему непоколебимую устойчивость, обращающие те именно общественные классы в самые консервативные, которые угрожают Европе переворотами (социалистическими), заключаются в крестьянском наделе и в общинном землевладении».

«Европейский социализм есть учение революционное *не столько по существу своему, сколько по той почве, где ему приходится действовать.* Если бы он ограничивался приглашением мелких землевладельцев соединять свою собственность в обширное владение, так же точно, как он приглашает фабричных работников соединить свои силы и капиталы посредством ассоциаций, то в этом не было бы ещё ничего преступного или зловредного. Но дело в том, что в большинстве случаев земли нет в руках тех, которые её обрабатывают, что, следовательно, европейский социализм, в какой бы то ни было форме, требует *предварительного передела собственности, полного переустройства* землевладения и всего общественно-экономического строя. Беда не в социалистических теориях, которые имеют претензию быть лекарствами для излечения коренной болезни европейского общества. Лекарства эти, может быть, действительно вредны и ядовиты, но какая была бы в них опасность, если бы они могли спокойно оставаться на полках аптек, по неимению в них надобности для здорового организма? Лекарство вредно, но вредна и болезнь сама по себе. *Планов для перестройки здания* много; но нет материала, из которого его можно было возвести, не разрушив предварительно давно законченного и завершённого здания. У нас, напротив того, материал в изобилии и *сам собою органически складывается* под влиянием внутренних, зиждительных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки».

«Эта-то здравость общественно-экономического строя России и составляет причину, по которой мы можем *надеяться* *т* *высокое общественно-экономическое значение славянского культурно-исторического типа,* имеющего ещё в первый раз установить правильный, нормальный характер той отрасли человеческой деятельности, которая

обнимает отношения людей между собою не только как нравственные и политические личности, но и по воздействию их на внешнюю природу, как источник человеческих нужд и потребностей, — установить неотвлечённую только правомерность в отношениях граждан, но реальную и конкретную»³.

Я обращаю внимание на некоторые места в этой выписке: «Планов для *перестройки здания много* (на Западе), но нет материала» и т.д.

— «У нас, напротив того, материал в изобилии и *сам собою складывается* под влиянием внутренних зиждительных начал, не нуждаясь ни в каких придуманных планах постройки». И дальше, где Данилевский выражается так: «*имеющего ещё* в первый раз установить», а не «*установившего*». Разве эти места не указывают на то, что и для общинного начала он ждал «развития», а не удовлетворялся теперешним положением дел. Человек, который говорил об условиях, благоприятных и неблагоприятных для *перестройки здания*, мог рассчитывать на то, что его не заподозрят в неподвижном охранении и в самообольщении насчёт совершенства «*настоящего*» строя.

Несчастья же собственно хозяйственного порядка, неурожая или изнурения почвы, (которых упоминает г. Соловьёв, прямо к общинной форме землевладения не относятся. Эти неудобства могут быть уделом и личной, *отчуждаемой* собственности, и никто не может доказать, что, с переходом общинных порядков к индивидуальным (участковым, с правом отчуждаемости), крестьянское хозяйство процветёт немедленно. Хозяева и земские люди, более нас с г. Соловьёвым во всём подобном сведущие, находят столько разнородных причин современному упадку крестьянского хозяйства, что по *меньшей мере* было бы неосторожно возлагать всю ответственность за этот упадок на общинную форму землевладения.

Тут участвуют в значительной степени и пьянство, и другие причины более морального, чем вещественного свойства, и потому, прежде чем посягать на *строй общины*, надо позаботиться как можно более о *настроении самого общинника*. При власти помещиков была та же община, но люди, её составлявшие, были другие: они *вынуждены* были вести себя иначе, и хозяйство их шло гораздо сноснее. Мы все думали лет 25—30 тому назад, что крестьяне *без нас* будут хозяйничать гораздо лучше *нас самих*; но пришлось разочароваться в их практической мудрости...

Дело теперь в том, стало быть, чтобы сохраняя общинный строй нерушимым, действовать на крестьян и хозяйство их всеми другими

³ «Россия и Европа». 1871 г., стр.523-525.

возможными путями и посягнуть на общину разве только тогда, когда после целого века или полувека стараний агрономических, административных, религиозно-нравственных и т.д. окажется что-нибудь более ясное. Например, если бы после таких долгих попечений, опытов и усилий оказалось несомненным, что при одинаковых урожаях, при сходной почве, при равном уровне нравственности, трезвости, предусмотрительности и т.д. крестьяне-общинники живут гораздо беднее и развратнее тех русских людей, которые владеют мелкой собственностью на правах свободной отчуждаемости и безусловной личной неотъемлемости (т.е. без опасения *переделов*). Впрочем, г. Соловьёв ничуть и не предлагает ускорять внешними мерами разложение нашей общины, он даже одобряет то, что правительство русское, сохраняя общину, позаботилось о том, чтобы после освобождения не произошло внезапного обезземелия.

Не уничтожить общину он предлагает, он советует только не надеяться на неё особенно. «Сельская община (говорит автор) никак не есть исключительная особенность русского или славянского культурного типа; она соответствует одной из *первобытных ступеней* социально-экономического развития, через которую проходили самые различные народы. *«Это не есть задаток особо русского будущего, а лишь остаток далёкого общечеловеческого прошлого»*⁴.

Это верно: «сравнительная история учреждений доказала это неопровержимо», как утверждает г. Соловьёв.

Но я не знаю, брала или нет в расчёт эта история учреждений следующее условие: «одна и та же реальная сила общества, одно и то же учреждение, даже сходные события истории, вообще сходные социальные явления, в разные времена и при различных других побочных общественных обстоятельствах, приносят совсем разные плоды».

Я не слыхал о специальном исследовании подобной задачи. Для того, чтобы судить о чём-нибудь, я ни себя, ни других не считаю обязанными знать всю литературу по предмету суждений. В наше время нестерпимого многописания трёх жизней не достало бы на это. Да это и не нужно.

Есть факты всем известные. Например: английская конституция, начавшая своё развитие *во времена крестовых походов*, дала совсем иные исторические плоды, чем все первые французские конституции *прошлого века*.

⁴ Стр. 747 и 748.

Государственное объединение Франции, подготовленное постепенно веками и завершившееся при Людовике XIII и XIV, отозвалось совершенно иначе и на истории самой Франции, и на истории всей Европы, чем современное и внезапное государственное объединение Германии и Италии. *По существу* с первым однородное объединение этих двух последних стран даёт на наших глазах совершенно другие результаты: международные, внутреннесоциальные, религиозные, литературные, экономические...

Монархические ранние начальные *задатки* существовали одинаково и в эллинских республиках, и в римской; но в первых из них ничего не вышло, а в Риме позднее восстановление царской власти дало великие результаты. В Китае давно существовало учреждение чиновничества или власти не по роду, наследству и т.п., а по экзамену (*грамматократия*); в демократической Европе и в крепостной России сходный по существу порядок ввёлся гораздо позднее, и если мы возьмём *общие картины*: с одной стороны Россию за истекшее столетие и за первую половину XIX века, с другой хоть Францию, одинаково бюрократическую при всех правлениях *этого* века, и, наконец, современный Китай; то я думаю, что во многих отношениях эти три картины будут весьма различны, несмотря на сходство *административного пути*: карьера по экзамену.

Эмансипация французская в конце XVIII века, при других *побочных обстоятельствах*, приняла совсем не тот характер, который приняла наша русская во второй половине XIX.

Вообще не надо претендовать отличаться от других наций и культур *одним каким-нибудь строго специфическим признаком*. Реальные науки безусловно специфическим признакам не доверяют. Медицина не признает неизбежно специфических признаков в болезнях; наиболее специфические часто изменяют, не обнаруживаются врачу; он вынужден судить по всецелости и совокупности признаков. Естественная система, введённая в ботанику Б. де Жюсье, основана именно на этом приёме разбора по *всецелости и совокупности*. У всех позвоночных животных *должен быть остов* (оттого они и зовутся позвоночные); но у некоторых низших рыб, похожих на червей, мы его не найдём. Однако несмотря на отсутствие скелета, все зоологи, по совокупности остальных признаков, причисляют их к *позвоночным* животным, а не к червям. Все рыбы дышат жабрами; но жабры *одни* не могут служить *отделяющим* признаком для рыб; потому что и гады или *амфибии* (то есть: лягушки, жабы, саламандры) в начале своей жизни (в

виде головастика) тоже дышат жабрами, как рыбы, а позднее лёгкими, как ящерицы, змеи и черепахи.

И христианство имеет много общего и много схожего с другими религиями; с одной оно сходно *единобожием* (еврейство и мусульманство), с другой — воплощением Бога (браманизм), с третьей — строгим аскетизмом (браманизм и буддизм), с четвёртой — допущением изображений (буддизм, браманизм) или верой в вечную индивидуальную загробную жизнь (мусульманизм); но *совокупность* во всех этих религиях совсем иная.

На этом основании и общину нашу, конечно, не надо считать *специфически* русской по отношению *ко всем временам и народам*, но можно, во-первых, считать её *пока* весьма важным и *резким* признаком нашим относительно *Европы* (ибо *это главное* и даже в высшей степени необходимое соображение, сходство же в чём-нибудь с Азией не погубит нашей оригинальности, а только сохранит её надолго), а во-вторых, можно надеяться на общину в России *именно потому, что у нас она сохранилась теперь вовсе не при тех побочных условиях, при которых она существовала давным-давно в Западной Европе.*

У нас есть и другой пример, сходный с этим. Наш Государь и в наше время может, если Ему это угодно, сказать: «L'Etat c'est moi!» — как говорил великий Людовик французский 200 лет тому назад. И мы будем Ему за это признательны. Однако и общая картина современной России с её духом, бытом, учреждениями, совсем непохожими на Францию XVII века, и множеством результатов исторических и социальных для этих двух равносильных и в *принципе однородных монархизмов*, получаются разные, ибо эпоха другая и побочные обстоятельства совсем не те.

Кстати, напомним здесь об одном очень для нас важном мнении некоторых западных публицистов. Они полагают, что легально-принудительная («коммунистическая» — так сказать) форма нашей сельской общины теснейшим образом связана с самодержавной формой нашей государственности и поэтому, посягая на первую, мы можем расшатать и вторую.

Владимир Сергеевич Соловьёв находит, что наука в настоящее время в России в упадке. Он говорит об этом так: «Лучшие наши учёные (как в естественных, так и гуманитарных науках) частью окончили, частью кончают своё поприще. *Работников* науки в настоящее время больше, чем прежде, но *настоящих мастеров* почти вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала, наши молодые учёные знают больше, чем их предшественники, но они хуже их умеют пользоваться своим обильным знанием. Вместо цельных научных созданий, мы видим лишь разрастающуюся во все стороны груды строительного материала, и труд учёного всё более превращается в чёрную работу ремесленника».

Я не берусь возражать г. Соловьёву на эту мысль его *прямо*.

Прямым и самым лучшим возражением я назвал бы простой перечень *прежних* учёных трудов и новейших, определением их относительного значения. Не берусь я за это вовсе не потому, что я сам не «учёный» и не считаю себя, конечно, ни по какой науке специалистом: для такой простой цели, как перечислить некоторые книги и указать значение их, специальность вовсе не нужна; нужна только некоторая степень общей начитанности и привычка *думать обо всем этом*. Я не берусь за подобное перечисление лишь потому, что я теперь *не в столице* и что здесь нет тех книгохранилищ и музеев, в которые необходимо было бы для некоторых мелких и, пожалуй, даже и презренных справок самому съездить или послать за себя кого-нибудь другого.

Нужна *точность* заглавий, нужны года изданий и т.п. Иначе всегда найдутся люди, которые будут рады воспользоваться самой неважной ошибкой подобного рода. Я всегда вспоминаю, как, во время известного процесса г. Солодовникова, в газетах накинулись на него за то, что он, упомянув к чему-то о сочинениях Бокля, назвал его книгу не «История цивилизации в Англии», а «История цивилизации в Европе». Но по существу дела, г. Солодовников вернее озаглавил эту книгу, чем сам Бокль, ибо в ней очень много говорится об истории Франции, Испании, Шотландии, Англии, упоминается даже не раз о Соединённых Штатах и Германии (о «накоплении и распространении знаний», напим., и т.д.). Положим, всякий, кто «пишет», должен быть готов перенести всякие ненужные придирки, но на всё есть мера; и не боясь чересчур чужой недобросовестности, надо опасаться, из уважения к истине, собственной неосторожности.

Вот почему я перечислять, называть, указывать прямо и составлять списки теперь не могу; надеюсь, впрочем, что это не лишает меня права ни на общие

размышления, ни даже, когда будет нужно, на некоторые приблизительные указания, просто на память.

«Накопление и разрастание учёного строительного материала», говорит г. Соловьёв. Правда, накопление этого материала на полках библиотек производит соответственное накопление фактов в умах молодых учёных и нередко внушает им даже некоторый вредный умственный страх (именно вроде того, чтобы не сказать «цивилизация Европы» вместо «цивилизация Англии»); а это излишнее накопление фактов в уме и бесконечная погоня за новыми и новыми, но чужими и мелкими фактами мешает и самобытной постановке новых точек зрения, и глубине выводов.

Конечно, и для умов нужен простор, нужно время, нужны сроки.

Недостаёт времени мыслить своё, когда беспрестанно изучаешь чужое. Недостаёт в голове простора для вольного мышления, когда она подавлена избытком фактов. Человек приучается всё более и более бояться ошибок и убивает этой боязнью в себе ту силу фантазии и то дерзновение мысли, без которых невозможны ни замечательные открытия, ни великие гипотезы.

Это подавление живой и личной мысли чрезмерным обилием чужого и большею частью однородного материала действует не только на самого трудящегося, но и на публику; не только сами учёные подавляются этим бременем, но они подавляют им и читателей. Ужасаешься иногда при виде всех этих библиотек и книжных лавок! Даже и в России! Какое множество написанного и напечатанного! И как мало во всем этом действительно хорошего, оригинального, остроумного и глубокого!

Когда на меня самого находила тоска при мысли об этих пудах печатной бумаги, я всегда вспоминаю с удовольствием одну умную статью в «Современнике», которая в своё время возмутила наших поклонников «книжности»; но мне она тогда же (в 60-х годах) очень понравилась. Автор говорил в ней смело против многописания вообще. Он находил, например, вовсе ненужным и бессмысленным существование наших журналов и газет *среднего* направления. Он допускал значение «Русского вестника», который действовал против «Современника» и, надо сказать правду, в то время был гораздо занимательнее и цветнее, чем стал впоследствии; но он признавал, и не без основания, ненужными «Отечественные записки» гг. Краевского и Дудышкина и другие, ни то, ни сё, журналы. Относительно изящной литературы или «беллетристики», как говорится, смелый автор был снисходительнее, хотя находил, что и в ней авторы слишком скоро начинают повторяться. Но особенно он был строг к многокнижности в науке. Помнится

мне, он между прочим, выражался так: «Я теперь занимаюсь политической экономией и нахожу, что для того, чтобы основательно ознакомиться с нею, мне достаточно четырёх авторов». Всех четырёх названных им учёных я наверное не помню. Наверное я помню только *первого и последнего: Адама Смита и Дж. Ст. Милля*; двух средних забыл. Нечто подобное я испытал и на себе, когда был в течение 7—8 лет моей первой молодости практикующим врачом. Большие слишком подробные, особенно немецкие руководства вроде Канштата и Вундерлиха, бывшие тогда в моде, только путали и сбивали у постели больного. Невозможно было всего «вместить»; читалось из самолюбия, из боязни отстать, отчасти из любознательности, — пользы же действительной было гораздо больше или от краткого чисто практического энхиридиона Гуфеланда или от каких-нибудь брошюр о новом особом наблюдении; или, наконец, от таких общих и кратких, можно сказать *идеальных* руководств, как старое руководство патологии Шёнлейна. Там болезни были все идеальные: водянка, пневмония и т.д., чистые без подробных оговорок и многоречия; всё было ясно и понятно, а сама жизнь, клиническая действительность, делала своё дело, усложняя и отклоняя болезнь от чистого и ясного прототипа.

Давно уже были люди, скорбевшие о многописании и многокнижии; давно уже они понимали, что и для самого специального дела от этого мало пользы.

Помню, ещё гимназистом VII класса (в 48 или 49 году) я восхищался одной статьёй Грановского в том же «Современнике» и выписал её для себя почти всю в особую тетрадь. Есть там вещи ошибочные и странные: например, говоря уже и тогда о множестве исторических сочинений, появляющихся на Западе, Грановский объясняет это тем, что «праздным⁵ европейцам XIX века нужны сильные ощущения», и находят их в чтении рассказов о драматических событиях прежних времён. Хороша *праздность*! В Европе XIX века! Талантливый и сам досужий москвич 40-х годов в 49 и 48 году забыл и об драматизме *современной* ему западной истории, и ещё о том, что не праздность вредит обществам нашего века, а, напротив того, слишком напряжённая быстрая производительность предметов, как искусственно вещественных, так и умственных. Разумеется, что не в праздности можно обвинять европейцев, а в излишнем и вредном обоготворении производительности и того, что так богомольно зовут французы «le travail»!

⁵ Не ошибся ли я? Не сказал ли Грановский «скучающим европейцам», а не *праздным*. 1890 г. К. Леонтьев.

Но есть в статье Грановского и много прекрасного: такова, например, его поэтическая защита исторических и вообще гуманитарных наук противу тех, которые и тогда уже хотели все силы ума человеческого приложить к одному естествоведению.

И в этой статье, уже почти полвека тому назад писанной, замечен некоторый ужас перед многокнижностью. «В одной Германии, — говорит Грановский, — за один прошедший год напечатано столько же книг, сколько их было напечатано со времени Гутенбергова изобретения...» Это в самом деле отвратительно! И это ещё раз доказывает, как правы те, которые думают, что разложение романо-германского мира, приостановленное лет на 30 реакцией, выразившейся на венском конгрессе, именно со второй половины века (с 48 года) пошло опять быстрыми шагами!

Вот уже когда сами учёные люди начинали понимать, какой бич это пустое умничанье, находящее себе два равно глупые и равно крайние выражения: одно в самоуверенном дилетантизме многотысячной толпы, другое — в специалистическом или монографическом, так сказать, отупении.

Но ещё и много прежде этого (в 1750 году) Ж. Ж. Руссо говорил вот что в своём известном, увенчанном парижскою академиею сочинении «Discours sur les sciences et les arts»: «Но если прогресс наук и искусств ничего не сделал для нашего истинного счастья (говорит Руссо); если он развратил наши нравы, а развращение нравов испортило чистоту нашего вкуса, то что скажем мы об этой толпе элементарных авторов, которые удалили от храма муз все преграды, затруднявшие к нему доступ; преграды, которыми сама природа как бы преднамеренно защищала вход в этот храм для испытания сил у людей, жаждущих познаний! Что подумаем мы об этих компиляторах неосмотрительно взломавших врата науки? Они пропустили сквозь эти врата чернь недостойную даже и приблизиться к ним, ибо было бы гораздо желательнее, *чтобы люди, неспособные далеко пойти на поприще письменности, чувствовали себя отринутыми на первых же шагах* и обратились бы к ремёслам, более полезным для общества. Те, которые самой природой были назначены создавать учеников, в учителях не нуждались. Беконы Веруламские, Декарты и Ньютоны, эти наставники человечества, сами наставников не имели, и какие руководители привели бы их туда, куда привёл их собственный обширный гений. Обыкновенные учителя только бы сузили их постижение, стеснив его по собственной бедной мерке. Первые затруднения научили этих гениев делать усилия ума и, упражняясь таким образом, они преодолели необходимые пространства предстоящего им пути. Если уж

нужно разрешить некоторым людям занятия наукой и искусствами, то исключительно только тем, которые почувствуют себя в силах идти без чужой помощи по стопам этих великих людей и превзойти их: только подобным людям следует позволить воздвигать памятники славы человеческому уму!»

Ж. Ж. Руссо был идеальный и оптимистический утилитарист, т.е. он желал сделать всех людей весьма счастливыми и весьма моральными и верил в возможность осуществить этот идеал. Он находил, что мелкая многокнижность и, говоря по-нынешнему (т.е. скверно, по-хамски), «интеллигентность» — не даёт обществу ни того, ни другого — ни благоденствия, ни морали. Конечно, он был прав, хотя в наше время большая часть его доводов кажется почти детскими. Понятие «развития» в наше время стало более ясным, чем понятие «счастья».

«Большинство людей, общество, не станет ни нравственнее, ни счастливее от того, что будет много людей «письменных», людей бумаги, много чернорабочих науки и литературы» — вот главная мысль Руссо.

Теперь я приведу ещё здесь мнение одного из наших весьма известных современников, Эд. Ф. Гартмана, о том, что *самим учёным* будет в трудах их предстоять *всё меньше и меньше удовольствия*, отрады, утешений, счастья, по мере размножения всё тех же *средних тружеников* и по мере дальнейшей разработки учёного материала.

Гартман тоже идеалист, как и Руссо, но он не *утилитарный* и *мифический* оптимист; он *эволюционный пессимист*. Он признает «развитие»; он и ценил бы его, но, во-первых, он полагает, что процесс развития человечества уже близится более или менее к своему концу; развитие начинает переходить уже заметно в *эсхатологическое разложение*. В счастье человечества, как известно, Эд. фон Гартман *ни при каких условиях* не верит. В мораль он верит, но в какую? Он верит в ту мораль, по которой один мой знакомый раз в Москве совсем было заказал молодому слуге своему, хорошему кулачному бойцу, крепко побить на улице одного неприятного ему газетного сотрудника; но после раздумал при мысли о мировом судье и о петербургском начальстве своём. А потом досада сама прошла.

Моральны люди станут (по Гартману) поневоле, фаталистически, вследствие полного господства общества над лицами; сперва внешняя воспитательная дисциплина, конечно, потом всё большее и большее усыпление воли и страстей. *Не будет уж и хотеться побить*. И тогда-то, когда все люди станут в таком несносном роде моральны, настанет такая

ужасающая тоска и скука, что человечество будет желать только одного — всеобщей смерти, полного уничтожения. Я думаю, что Гартман прав отчасти и что все те нынешние трудолюбцы, которые способствуют разными средствами к тому, чтобы люди, как можно, менее зависели от природы («открыватели», «прорыватели», разные Лессепсы, Эддисоны, Яблочковы) и, как можно более от общества (нигилисты, демократы, легальные революционеры), вовсе не полезные люди, а вредные; пожалуй, более вредные, чем всякий Атилла, не говоря уже про того умного халифа (Омара), который в Александрии велел сжечь много книжной дряни и освежил надолго умственный воздух.

О том, что разрастание научного материала будет, между прочим, способствовать и уменьшению самого удовольствия от научных занятий, Гартман говорит вот что: *«Нужда в гениальных людях будет чувствоваться всё меньше и меньше, и бессознательное будет всё реже и реже их производить. Все классы общества нынче смешаны под одним всемирным черным фраком и в умственном отношении мы идём к такому же уравниванию, к общему идеалу солидной посредственности. Поэтому и наслаждение научным творчеством будет всё слабеть, и человечество, наконец, будет пользоваться удовольствием лишь одного пассивного знания».*

Всё это так: многописание, многопечатание, многоучение становятся ужасными и несносными. Но, вопреки Гартману, мне всё кажется, что и этому излишеству назначен в истории свой предел; я думаю, что хотя бы на время, но отшатнётся человечество и от этого. Отвращение от излишней и вредной книжности пока (в конце XIX века) есть ещё удел немногих; весьма возможно, что при тех грядущих социальных переворотах и при глубоких политических потрясениях, которые близятся и коих *человечеству избежать невозможно*, это отвращение со временем станет более популярным.

Но и тут я должен (опасаясь даже наскучить читателям) опять и опять напомнить о сроках... Мерки общие и приблизительные есть для жизни; жизнь человека считается годами, жизнь наций и государств веками. Годами нельзя мерить ни политическую, ни культурную жизнь народов. Замечали многие, что 20, 25, 30 лет ($\frac{1}{4}$ века) приносят видимое, значительное изменение в духе и в положении общества, вследствие созревания поколений; но в три года, в пять лет и даже в десять ещё не видны обыкновенно ясные последствия перемены в обстоятельствах и умах. Точки как исходные, так и кульминационные, разумеется, надо принимать несколько искусственные,

иначе ни в чём и разобраться было бы нельзя. Пусть они будут искусственны; достаточно того, если они будут искусно избраны.

Итак, давно ли было то время, когда у нас жаловались, что именно этой сухой, мелкой, но точной учёности было в России мало? Для многих, или постаревших, или слишком ещё молодых, как будто бы это было давно. Для нации же русской это было очень недавно. Всё в тех же 60-х годах. Писатели, мыслившие подобно тому публицисту «Современника», которого я цитировал, были тогда исключением; и к тому же многие из тех, которые сочувствовали его мысли (о многокнижии и т.д.), имели в виду только одну непосредственную практическую сторону жизни, социальную, материальную, хозяйственную, то есть они находили, что вообще надо заботиться о нищете и страданиях, а не об «науке для науки». В высших же сферах русской мысли почти все тогда заботились о распространении и утверждении именно той «чернорабочей» научности, на которую г. Соловьёв жалуется и на которую он почти обрекает молодое поколение наших учёных. Жаловались на нашу в этом отношении отсталость от Запада не только в начале 60 годов; но я сам уже в 68 году (значит, всего 20 лет тому назад) имел об этом самом предмете довольно любопытный разговор с Мих. Ник. Катковым. Передам его в точности.

Х

В 68 году, проживши подряд пять лет в Турции, я приехал в Россию в отпуск, несколько раз виделся с Катковым и подолгу беседовал с ним. Он расспрашивал меня о Турции, я его об России. Живя в Турции, я читал его статьи в пользу классического образования и желал ещё больше разъяснить себе его цели. Я сказал ему, между прочим, так:

— На что эти насильственные труды в школе, когда в хороших переводах дух греческих и латинских авторов вполне доступен. Хотя бы я сам, например: я древнегреческому языку вовсе не учился; по-латыни знаю плохо, Софокла я читал в переводах П.М. Леонтьева, читал его Пропилеи, оды Горация в переводе Фета, Аристофана по-французски с толкованиями, а Гомера знаю по Гнедичу. И не только восхищаюсь ими; но, право, мне кажется, что я и понимаю их получше многих из тех, которые твердили всё это в училище и потом бросили без внимания. Похвалюсь также и другим, уж извините, я перезнакомился на Востоке более чем с сотней разных европейцев, и нахожу

их ничуть ни умнее, ни образованнее себя и других моих русских товарищей. Напротив!

На это Катков отвечал так:

— Дело не в том только, чтобы понимать дух древних авторов, а в том, чтобы с ранних лет привыкнуть к упорному и последовательному умственному труду. И я не отвергаю, что в России много умных людей; *только и из них очень немногие умеют продержать пять минут в голове одну и ту же мысль*. А европейцы умеют!

Кажется, он говорил и ещё что-то о самом духе древности; но этого я не запомнил, вероятно, потому, что для меня оно было менее ново и поразительно, чем это прямое указание на *умственную гимнастику*. После я вспомнил, что и в статьях его упоминалось о том же, но другими, менее живописующими словами.

Потом мы перешли к славянофильству по поводу одного для обоих нас занимательного практического вопроса. Незадолго перед этим я прислал ему для «Русского вестника» небольшую статью «Очерки Крита». Я был в восторге от Крита и критских простолюдинов и находил в них множество поэзии. Особенно восхищало меня то, что я почти совсем не видал там на мужчинах *европейской одежды*, которую я с ранних лет возненавидел всем сердцем и за возмутительную неживописность её, и за пошлость, и, наконец, за самую нестерпимую *всеобщность её*. Последняя глава в моих «Очерках Крита» была посвящена именно этому. Я рассказывал о радостных впечатлениях моих ещё дорогой на острове Сире, когда я в первый раз после Петербурга, Варшавы, Вены и Триеста *увидел не чёрную и не серую толпу, а голубую и синюю с пунцовыми большими фесками и красными кушаками*. В Крите народ стал ещё красивее и пестрее: и греки, и турки. Глаза и душа моя отдыхали, и только цепи службы моей (эти доселе неисцелимые предания Петра I-го!) воздерживали меня от того, чтобы одеться или по-русски в цветную рубашку и цветной бархат, или даже прямо не то по-гречески, не то по-турецки. Я написал обо всём этом откровенно в моей последней главе; выражался, между прочим, так: «Вот пикник. Едут на хороших больших мулах, убранных кистями, несколько кавасов, греков и турок в расшитых золотом разноцветных одеждах, темно-зелёных, красных, голубых; а за ними верхами же консула в чёрных и тёмно-серых пиджаках и сюртучишках, точно стая отвратительных ворон и галок вслед за райскими птицами! Какое подавляющее господство европейской прозы над восточной поэзией! Как же может процветать живопись из современной жизни, когда в образованных странах люди

(особенно мужчины) своим присутствием могут только обезобразить и омерзить самый прекрасный вид природы!»

Так я и выражался.

И всё в этом роде. Потом, проведя по странице моей вертикальную черту, я представил следующий ряд параллельных антитез для русских художников, которых звал в Турцию:

Восток (писал я это уже позднее, в Адрианополе, где увидел ещё и другие оттенки восточных одежд).	Европа
1) Похороны богатого турка на острове Крит.	1) Похороны какого-нибудь Шульца Делича в Германии
2) Схватка критского повстанца (в бурнусе на красном подбое, в высокой красной же феске, в голубых шальварах) с арнаутом мусульманином (в белой фустанелле, серой бурке, расшитой белым и красным, в низкой и круглой феске с густой синей кистью).	2) Борьба русского пехотинца с французским линейным «трупье» под Севастополем (оба <i>гладкие</i> , оба <i>тёмные</i> , оба в ужасном кепи и в облизанных панталонах и т.д., мизерные фигуры их известны).
3) Монах учит городского мальчика-болгарина грамоте (на мальчике куртка из палевого ситца с большими яркими цветами, оливковые шальвары короткого зуавского фасона и красный кушак).	3) Учитель европейский (вообще) учит русского гимназиста.
4) Отшельница старуха в пещере на острове Крит (я знал там такую).	4) Набожная старая немка, читающая в праздник Евангелие на Васильевском острове.

И так далее. Катков, печатая мои очерки, *выкинул всю эту главу*. И когда я спросил его, зачем же он это сделал, он ответил: «Признаюсь, ваше славянофильство мне претит». Потом прибавил: «Рассказывайте, описывайте; мы всегда будем рады печатать ваши рассказы; *но зачем же вы хотите нас учить*!» Что такое славянофильство? Это доктринёрство, натяжка, гримаса. На что надо этому учить? Сама жизнь наведёт на всё это, *когда будет нужно*. Не вступая тогда с ним в слишком горячий спор, так как уже понял, что ни он меня, ни я его переубедить не в силах, я сказал на это только следующее:

— Проповедь есть также существенная принадлежность жизни, без неё нельзя. Она prepares решения действительности. И к тому же взгляните, какой стыд. Вот эти чашки (я указал на расписную деревянную чашечку, которая стояла на его письменном столе). Эта русская утварь очень оригинальна и красива, отчего мы не обращали на неё внимания до тех пор, пока французы не восхитились ею на прошлогодней выставке. Разве хорошо не иметь никакой национальной изобретательности? Стыдно нам всё быть только большим государством, пора стать и великой нацией.

На это Катков возразил с жаром: «Мы не умеем ни ценить своего, ни изобретать, потому именно, что мы варвары. Когда у нас будет больше действительной образованности, когда *у нас наука окрепнет, у нас сама собою явится та самобытность, которая вам так желательна. А пока надо уметь учиться*».

Я замолчал, задумался и позднее убедился, что с этой стороны он был прав. Для большинства нужно прежде *почувствовать* себя умственно равным в большинстве иностранным, а потом можно стремиться или превзойти других на том же пути, или ещё лучше ощутить в себе смелость и умение выйти на вовсе новую стезю. Раз уже утрачено свежее и наивное творчество незнания, другого пути нет.

Катков был прав со своей точки зрения — ближайшей педагогической цели. Не прав он был в том, что не желал никакой заблаговременной проповеди. Я говорю: не прав, как мыслитель непрозорливый; а как практический редактор, опять-таки он был прав, не допуская на страницы своего издания то, что он считал ещё несвоевременным. Интересно, между прочим, вот что: года за два, за три до кончины Каткова один из близких ему людей говорил мне, что он теперь думает, «нельзя ли сочинить для лицеистов какую-нибудь форму — *в русском вкусе!*» Вот уж кто *сроки* эти чуял и любил!

Из этого разговора следует, что Катков, во 1-х, признавал за классическим обучением значение педагогическое, воспитательное, гимнастическое, пожалуй, ещё больше, чем общеобразовательное; а во 2-х, что достичь некоторой самобытности (культурной) он для нас, русских, полагал возможным только при большей противу прежнего усидчивости, именно в том чернорабочем учёном труде, который, как мы видели, не особенно сам по себе восхваляется г. Соловьёвым. Оговорюсь: г. Соловьёв не то чтобы прямо порицал его; он порицает его гораздо меньше, например, чем я; он находит только этот род труда, во 1-х, недостаточным, а во 2-х, уж конечно, не

специально русским, не могущим дать сам собою никаких национально-культурных результатов.

Оговорившись, продолжаю:

Кто же прав из этих двух замечательных русских людей? Старший или младший? Человек «сороковых годов» или человек «семидесятых»?

Прежде чем ответить на это, скажу, что я не имел случая говорить второй раз о том же с Катковым 20 (19) лет спустя после первого нашего разговора, например, в 87 году. Я думаю, если б я напомнил ему о той нашей беседе, то оказалось бы, что он теперь доволен успехами, сделанными нами за это короткое (в историческом смысле) время.

«Тружеников» науки стало гораздо больше; исполнилось то, чего он желал: *увеличилось значительно число русских людей, которые могут продержат одну и ту же мысль в голове своей гораздо дольше пяти минут.*

Кто же правее? И в чём правее? Начать с того, что их мнения ничуть не состоят в прямом антагонизме. Катков в 68 году желал, чтобы у нас было больше учёного труженичества. Г. Соловьёв утверждает, что теперь желание Каткова исполнилось. Разница, быть может, только та, что Катков, вероятно, в последние дни своей жизни был бы этим состоянием русских умов *более доволен, чем г. Соловьёв*. Что Катков был довольнее состоянием русской учёности к концу 80-х годов более, чем 20 лет тому назад, доказывается особенно тем, что он сам становился под конец своей жизни всё более и более славянофилом, и в том смысле, что больше прежнего стал верить в возможность русской умственной самобытности. Он надеялся, кажется, и на то, например, что наука государственного права может у нас стать, наконец, на свои ноги и т.п.

Впрочем, когда я говорю и про г. Соловьёва, что он менее Каткова этим простым труженичеством доволен, то это надо понимать с одной довольно тонкой оговоркой. Г. Соловьёв, с другой точки зрения, пожалуй, и доволен современной бедностью нашей науки, но он доволен не потому, чтобы находил труженичество без творчества вообще достохвальным и делающим нам особую культурную честь. Нет! Если он и рад этой бедности, то лишь потому, что ему хочется всем нам сказать между строчками и по этому поводу *всё то же и то же*.

— Оставьте всякую надежду на самобытность *и с этой стороны*.

— Наше призвание иное: тёплая вера, сильное государство и смиренная, самоотверженная уступка Риму!

Отчасти с г. Соловьёвым можно и согласиться: Рим не Рим (а что-то иное, восточное), но, разумеется, усиление *подвигов мистицизма и высшей этики* в России гораздо желательнее чрезмерного разрастания чисто учёного труженичества.

Но вот у меня почти нечаянно сорвалось с пера *именно то слово*, которое здесь нужно: *чрезмерное разрастание*. Где же эта мера? О мере этой надо сказать то же, что и о *сроках*. Определить её заранее нет средств; помнить о ней необходимо во всём.

Весьма возможно, что у нас ещё не достигнута та черта насыщения учёным материалом, при котором создаются капитальные вполне самобытные труды, проливающие совсем новый свет на общечеловеческую науку, и появляются такие поражающие открытия, какими в своё время были: открытие кислорода Лавуазье, гипотеза Гюйгенса (световые волнения эфира), или открытие ячеек в тканях животных и растительных, или палеонтологические прорицания Кювье и т.д.

Прежние старые наши учёные, уже окончившие или кончающие своё поприще, о которых с похвалой упоминает г. Соловьёв, в своё время запасшись вдоволь европейским материалом, принялись за несколько самобытную работу ума и, как и следовало ожидать, самый первый и видный всем шаг на этом поприще сделали не натуралисты или доктора, а *гуманисты*, историки, богословы. Самобытная работа этих русских умов обратилась прежде всего на наши исторические, религиозные и национальные *особенности*. Умы эти, достаточно, говорю я, запасшись чужим (западным) материалом для приобретения необходимой самоуверенности, обратились по естественному чувству прежде всего к тому, что и западным людям было менее доступно или совсем неизвестно и что у нас самих было вовсе сознанием ещё не осмыслено именно вследствие той непривычки долго думать об одном и том же, на которую сетовал когда-то Катков.

Шаг за шагом эти труды привели и к той *теории культурных типов*, которую автор её (Данилевский) справедливо приравнивает сам к открытию Бернаром де Жюсье естественной классификации растений. Данилевский был тоже человек 40-х годов, надо это помнить. Крепкий, сословный, крепостнический строй, при котором росли все эти люди 40-х годов, покойное течение жизни при Императоре Николае I дали им возможность развиваться не спеша и зрело.

Все они роптали на этот строй, все они более или менее пламенно прилагали руки к его уничтожению; но как они, так и лучшие поэты наши и романисты обязаны этому сословному строю в значительной мере своим развитием. Всем им: Каткову, Герцену, славянофилам, Данилевскому — было уже за 40 или под 40 лет в 61 году, когда вдруг произошёл известный перелом. Они его встретили уже вполне зрелыми, но вовсе ещё не устаревшими людьми. Некоторые из них (Катков, И.С. Аксаков, Данилевский, отчасти Самарин) именно после переворота и принесли жатву тех семян, которые посеяны были в них при *других условиях*; другие же, как, например, Хомяков, хотя и свершили своё назначение прежде перелома, но на свет, так сказать, вышли всё-таки после него (вследствие цензурных и других облегчений). Я говорю, до 40 лет все эти люди жили в прежней, крайне неравноправной и жёсткой, России, созревали на её спокойном и досужном просторе. В них совершилось одно из тех таинств психического развития, которые наука ещё не в силах до сих пор удовлетворительно формулировать; в идеале, в сознании — они все более или менее ненавидели этот крепостнический и деспотический строй (и напрасно, конечно), но в бессознательных безднах их душ эпоха эта, благоприятная досужной мысли, свершила своё органическое независимое от их воли дело.

При таких ли условиях росли и развивались младшие люди 60 годов, *то есть те, которым теперь только за 40 лет*? Нужно ли распространяться о том, в каком смятенном состоянии они зрели? Сперва было не до науки. Сначала от напряжения радостной мысли, что мы «свободны», что мы теперь «настоящие» европейцы, что нам перед Европой уже не стыдно, как было прежде (до эмансипации); потом от изумления перед вовсе неожиданным в такую, казалось бы, счастливую минуту безграничным отрицанием «Современника», «Русского слова» и т.п. Все кинулись в борьбу социальную и политическую... Раздавались даже крики, что нам вовсе и не нужны науки, а нужен «хлеб и благоденствие общее». Г. Соловьёв был тогда ребёнком; но нам, имевшим в 61 году около 30 лет, всё это очень памятно. Из молодых в то время наибольший успех и славу имели только революционеры вроде Добролюбова и Писарева. И знамя борьбы против них подняли не ровесники их, а все люди прежней зрелости: Катков, Аксаков, отчасти Достоевский (в журнале «Время»), Аполлон Григорьев, насколько успел; кой в чём Краевский и Дудышкин (в «Отечественных записках» 60 годов) — все люди 40 годов; все почти 40-летние люди или старше ещё. Мало-помалу умственный хаос стал приходить в более ясное состояние: революционерство сознательное, ясное, крайнее покинуло поприще мысли (считая, конечно, раз и навсегда, по-своему

— в принципе *всё это* решённым и не подверженным даже сомнению) и обратилось к действию, к заговорам и убийствам. Революционерство же мирное и умеренное, законное и постепенное, у большинства его приверженцев бессознательное, продолжало до 80-х гг. преуспевать и господствовать на всех поприщах нашей жизни, доводя почти до отчаяния тех немногих тогда прозорливцев, которые хорошо понимали, *куда это нас ведёт*. Эти, частью бессознательные, частью прямо злонамеренно легальные разрушители, повинувшись старому преданию *верить в примеры Европы*, продолжали своё губительное дело на всех поприщах жизни нашей и по всем ведомствам, так сказать, нашей государственности, в делах церковных, в войске, в школах (особенно низших), в судах и журналистике... Так шло дело от рокового 61-го года до ужасного 81-го г.

Наконец «бездна», зиявшая давно в дали (*довольно близкой*, однако, для глаз дальнзорких), разверзлась даже и перед слабыми умственными очами бессознательных и «добрых» наших либералов. И они наконец-то в ужасе отступили. К счастью, другие люди (Аксаков, Катков) приготовили нам убежище под кровом государственно-церковной национальности нашей, которой столь многие из нас прежде не дорожили, не понимая её. Умеренный либерализм стал выходить из моды. Умеренный либерализм для ума есть прежде всего *смута*, гораздо больше смута, чем анархизм или коммунизм. Анархизм и революционный коммунизм – враги открытые и *знающие сами чего хотят*; одни хотят только крайнего разрушения, ищут дела ясного и даже осуществимого (на время); другие имеют идеал тоже очень ясный, хотя и неосуществимый, полнейшее равенство и счастье всех. Во всяком случае и они знают чего хотят, и мы знаем это; и взаимное понимание возможно, и борьба на жизнь и смерть поэтому легче. Либерализм же умеренный и законный, *лично и для себя, и для других в настоящем безопасный и покойный, для государства в будущем, иногда и очень близком, несравненно опаснее открытого анархизма и всех возможных заговоров*. И он не только опасен, он *умосмутителен*, так сказать, по своей туманной широте, по своим противоречиям, по своей безосновности.

И вот в этом-то умственном хаосе, от 60-х до 80-х годов, росли и зрели именно те умы, которым теперь пора бы уж было принести те научные плоды, на отсутствие коих не столько сетует, сколько просто указывает г. Соловьёв. (Просто ли, впрочем? Не с удовольствием ли человека, убеждённого, «что не в этом и дело наше»).

Преобладающее в обществе направление умов не только действует на выбор карьеры молодыми людьми, на их личные взгляды и т.п., но оно сверх того действует неотразимо и на теоретическую сторону жизни юношей, на выбор точек зрения, на освещение фактов при умственной работе и т.д. Чем же *таким национальным, самобытным, оригинальным* могли *освещать за всё это двадцатилетие свой научный материал умы младшие, когда умы старшие, зрелые более или менее, так или иначе почти все стремились к уничтожению у нас всех прежних остатков национального, оригинального, самобытного в самой жизни?* Надо дивиться ещё, как такое *своё* ещё сохранилось кое-как у нас! Надо восхищаться тем, что оно (это *своё*) оказывает ещё такую способность к возрождению!

Не чем своим было и вдохновляться юношам за всё это время опытов разрушения всего русского. А какое-то вдохновение, какое-то наитие нужно для великих шагов даже и в естественных науках, не только в гуманитарных.

Но с другой стороны, в это же самое время (от 60-х до 80-х годов) в среде той же русской молодёжи распространялась всё больше и больше и та привычка к учёному труженичеству, к собиранию материала, о котором идёт наша главная речь. Чрезмерность этого труженичества, конечно, вредна (как я говорил уже) смелому, не боящемуся частных ошибок творчеству мысли; но без некоторого упрочения этой привычки у *многих*, в наше время, вероятно, уже и невозможно творчество мысли у *избранных*. Необходимо же знакомство с предшественниками для того ли, чтобы превзойти их, для того ли, чтобы опровергнуть. И сам г. Соловьёв (которого можно, как я сказал, считать человеком 70-х годов) хотя, конечно, *избранник по творчеству*, однако потрудился же очень много и над чужим материалом, понёс много и «чёрной работы».

Наши младшие (70-х и 80-х годов), видимо, ещё не разобрались.

Они готовятся сказать своё слово, и шансы у них теперь уже очень выгодные:

- 1) Знаний гораздо больше прежнего.
- 2) Благоговения перед Западом несравненно меньше.

3) В воздухе вокруг них: жажда самобытности не политической только (давно уже имеющейся у нас), но и умственной, национальной, *духовной самобытности*. Имя Данилевского узнается всё больше и больше. Книги Н.Н. Страхова читаются всё больше и больше молодыми людьми.

Когда же это бывало прежде?

Вот куда теперь дует ветер! Надолго ли, не знаю наверное. Но похоже, что надолго⁶.

XI⁷

Ещё несколько слов о возможности самобытной славянской науки. Из всех категорий жизни положительная наука есть, конечно, самая космополитическая категория. Пока кто-нибудь не доказал с убедительностью, равной убедительности Коперника, Галилея и Ньютона, что не Солнце находится в известном центре, а Земля (как была она во времена Птолемея), что Земля неподвижна, а Солнце вокруг неё ходит, что тяготение не тяготение, а что-то вовсе другое, до тех пор всякий человек, китаец он или житель Индии, раз обучившись началам физики и астрономии в училище, будет думать так, как все, а не иначе. Что у всех животных есть такие-то и такие-то свойства, всем более или менее известные, — этого нельзя отвергать. Что существует так называемый кислород; что растения *выдыхают* его, а животные *вдыхают*; что существуют микроскопические *ячейки*; что движение состоит в определённом, теснейшем отношении с тем, что зовётся теплотою. И так далее. Эти истины, конечно, для всего человечества одни и те же.

Вероятно, и для социальных наук будут найдены также какие-нибудь общие основы. Отчасти они уже и существуют: в понятии организма общественного, в общепринятом представлении его развития, в сознании неизбежного существования так называемых реальных сил общества (собственность, государь (хотя бы президент, дож и т.п.) с войском и чиновниками, капитал, труд, религия, наука, искусство). Дерзаю даже снова настаивать на том, что мы, русские, если только у нас водворится более твёрдый, *менее противу нынешнего подвижный социальный строй*, будем иметь скорее всех других народов возможность дать и более противу прежнего сознательную постановку *социологии*.

И социологические, и психологические, столь тесно связанные с ними, истины могут стать, я полагаю, столь же точными, как и физические.

⁶ Под этими строчками на авторском экземпляре статьи К. Леонтьев написал карандашом: «Не окончено; устал весной и бросил; нужно ещё о национальной мистике и о будущности русского искусства».

⁷ Эта и последующие главы печатаются впервые с черновых набросков, найденных в бумагах К. Леонтьева.

И тогда и они сделаются для всех общими, *одними*. Разница тогда между нациями будет только в возможности *практического их приложения*. Более по-европейски образованные нации тогда уже не в силах будут *самовольно*, без Помощи завоевания, их в недрах своих приложить.

Новому успеху рационализма научного будет сопротивляться у них *рационализм общественный* (индивидуализм, закоренелые привычки личной свободы, личного плохого рассуждения и т.д.). Воля *большинства* будет противиться ясному *разуму немногих*, постигших научную необходимость новых оттенков теократии, сословности, монархизма, аристократизма и порабощения.

Те же нации (славяне, например, или азиатцы), которые ещё уберегут себя несколько к тому времени от *нынешнего передового* европеизма, могут ещё надеяться на подобное практическое приложение общих начал *прикреплённого неравенства*, неправоправности, малоподвижности, духовного подчинения и т.д.

Что русские на этом поприще (социологическом и связанном с ним столь тесно психологическом) могут сделать ещё многое — это весьма вероятно. Им *ещё есть время* захватить движение на этом пути в свои руки. Они ещё могут увенчать этим здание всемирной науки. Дальше относительно общих основ в отдельных науках, вероятно, нечего будет делать.

Что касается до каких-либо всё *более и более высоких обобщений*, то как бы эти высшие обобщения ни были новы и широки, они всё-таки предыдущих, низших и теснейших не уничтожат, если эти последние были в своей сфере удовлетворительны. Например, если бы даже химия доказала, наконец, наверное, то, что у иных существует теперь как предположение (гипотеза Проута), именно, что все тела суть превращения одного и того же *водорода* (вода Фаллеса, см: «Мир как целое» — г. Страхова, стр. 484—485), то ни кислород, ни азот, ни золото, ни серебро от этого не утратили бы тех частных свойств своих, которые за ними признала наука до этого открытия. Процесс горения не перестал бы происходить оттого, что кислород бы явился одним из превращений водорода; золото, ставши другой формой водорода, вероятно, не сделалось бы *синим и мягким*. *Практические* последствия для жизни, конечно, могли бы быть неисчислимы от подобной новости.

Но известная нам теория кислорода сама не изменилась бы, точно так, как не изменились бы основы крупной, описательной анатомии, после открытий анатомии более глубокой и общей целлюлярной или гистологической (микроскопической).

Наука, как и всё, едва ли на этой земле безгранична; самые успехи её (до сих пор, по крайней мере, было так) кладут ей непреодолимые пределы *сзади на пути её*. В этом смысле нельзя *возвращаться*, нечего открывать открытое. Нечего объяснять хорошо объяснённое. Можно только популяризировать её. Есть предел сзади, вероятно, и впереди есть пределы; есть вещи, которых мы никогда с полной научной точностью не поймём (и тем лучше!).

К слову здесь сказать: едва ли может таким образом г. Соловьёв уничтожить посредством своих *богословских* надежд *историческую* классификацию Данилевского. *Десять, одиннадцать культурных типов* останутся навсегда. Изменения могут быть допущены неважные.

Почти так же, как при всевозможных успехах естественных наук разделение позвоночных животных на *млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, амфибий* или гадов (лягушек, саламандр и т.п.) и *рыб* должно пребыть нерушимо, так и теологическое освещение истории г. Соловьёвым может стать по отношению к разделению человечества на культурные типы в то же самое положение, в котором будет стоять любая блестящая и глубокая химическая гипотеза к открытию и утверждению геологических пластов или формаций.

Такая химическая гипотеза может объяснить нам лучше прежнего внутреннюю атомистическую жизнь гранита, порфира, известняка, каменноугольных пластов и т.д. Она может даже изменить наш взгляд на дальнейшее будущее земного шара; но *в прошедшем* как самой науки, так и самого земного шара *эти пласты она с места не сдвинет*.

Это мимоходом к слову. А главная мысль моя здесь та, что с одной стороны, безграничному развитию науки уже самые успехи её полагают пределы *в прошлом*, уже приобретённом ею самой совершенстве.

А с другой, и в будущем, вероятно, есть у неё неодолимые преграды.

XII

В глубокой древности наука была так тесно связана с религией, что об ней, как о самостоятельной жизненной категории, можно и не говорить. Первое более ясное дифференцирование, первые достаточные признаки выделения науки из теософии или теологии мы видим в греко-римском языческом мире (Гиппократ, Плиний, историки и т.д.).

Под конец греко-римской жизни самостоятельная наука, видимо, всё более и более уважалась. Но настал великий переворот: воцарилось христианство и *положительная наука утратила цену в глазах общества*; она была почти забыта.

Была учёность; не было науки в нынешнем значении этого слова. Учёность была, конечно, значительная. Без великой учёной и философской подготовки св. Отцов невозможны были бы ни глубокомысленные догматические отвлечения соборов, ни такие книги, как «Богословие» Иоанна Дамаскина и «Весь Господня» Блаж. Августина, ни проповеди Григория Богослова и Златоуста.

Без этой учёности и без этого философского воспитания невозможно было бы создание церковного богослужения, столь наглядно и поэтически живописующего христианской пастве и философию Церкви, и её историю. Ибо церковные песни, возгласы, моления обдуманно пользуются всяким поводом, чтобы напомнить о Троичности Единосущного Божества, о воплощении Второго Лица, о девственности Богоматери, об ангелах, о характере и заслугах того или другого святого.

Этому пластическому, поющему и движущемуся воплощению как философии христианства, так и его истории, этой художественной материализации их мы православные обязаны тем, что многое множество даже безграмотных простолюдинов наших достаточно для их умственных сил знакомы с основными догматами христианского учения. Если в высших умственных сферах христианства в своё время догмат создал обряд и, так сказать, воплотился в нём столь прекрасно, если догмат наш в обряде нашем дышит, то в дальнейшей практической жизни христианства несомненно *обряд хранил догмат*; видимое *искусство Церкви* обучало народ скрытой в нём и мало доступной большинству *богословской науке*, популяризировало её. Обряд православный есть предмет до того важный по непосредственному психическому действию своему не только на простой народ, но и на образованных людей, что исключительно ему мы несомненно в наше время обязаны тем, что многие полуверующие и даже вовсе в сердце своём неверующие не отпадают окончательно от Церкви. Так как мягкость и впечатлительность современных сердец, сопрягаясь у многих с умственным (вовсе впрочем *неосновательным*) самомнением, делает то, что потребности любви в людях нынче гораздо сильнее потребностей веры, то и, не веруя или очень слабо веруя, многие *сердцем* продолжают Церковь *любить*. Любовь эта к Церкви легче и удобнее всего находит себе исход в сердечной

привязанности к обрядовой стороне, к богослужению. Как ни ленивы наши современники на всё то, что не приносит им немедленной практической пользы, но всё-таки хоть изредка хочется им постоять у *поздней* обедни в церкви, причаститься, полюбоваться на крестный ход, прослушать «Христос Воскресе» на Пасхе, *поглядеть* на какой-нибудь монастырь. Господь знает скольких людей эти, второстепенного достоинства, чувства сохранили для Церкви и впоследствии обратили к ней! Если сильная вера в Церковь непременно хоть сколько-нибудь (смотря по характеру личному) усиливает любовь к ближнему, к православной родине, к семье, то любовь к Церкви (выражающаяся обыкновенно в любви к её обрядности) рано или поздно может привести к вере. Захочется жить и руководиться тем, что так нравится.

Теперь мы все пользуемся и без учёности, и без философствования всем готовым в обрядовых формах церковности и большей частью через любовь к обряду соглашаемся подчиняться хотя слегка и мудростям догмата.

Но сначала необходима была огромная работа учёной и отвлечённой мысли для упорядочения, для создания и воплощения всего того, чем мы теперь, как готовым и конкретным, пользуемся.

Была, значит, и после времён Аристотеля, Гиппократ, Плиния, Цельзия большая учёность, требовался большой умственный труд; но не было тогда науки такой, какою мы её теперь понимаем. Не было ни настоящей, сознанной и возведённой в принцип науки для науки (не было монографий «о нервной системе морского таракана», например); не было и вытекающей из неё науки прикладной, утилитарной, дошедшей, наконец, почти до безумия и разврата своими телефонами, фонографами, электрическими освещениями и т.д.

Человечество ко временам Ария, Николая Мир-Ликийского, Василия Великого и Юлиана Богоотступника отказалось надолго и сознательно, философски отказалось, от дальнейшего движения по пути Гиппократов и Плиниев, Аристотеля и т.д.

Варварские нашествия благоприятствовали, правда, этому настроению умов, но, разлившись во всей силе гораздо позднее, *не они его создали*. Создало его отрицательное отношение новых и вполне сознаваемых учёных идей к результатам и к практике предыдущей образованности.

Вопрос, не близится ли то время, когда человечество снова откажется от предыдущих выводов и предыдущих (европейских) пристрастий? Это было бы весьма желательно.

Конечно, теперь времена не римские, а «романо-германские». *Материал* науки в нынешнее время огромен; *влияние её теперь* в иных отношениях *истинно ужасно* по силе и по кажущейся неотразимости своей.

Предрассудок в пользу науки нынче в среде так называемой «интеллигенции» представляется с первого взгляда всемогущим. Но не ошибка ли это?

Ведь «угол отражения равен углу падения». Крайность одного вызывает крайность противоположного. Сильные укрепления вызвали усиленную стрельбу; сильная стрельба вызвала ещё более сильную оборону, обшивание крепостей и кораблей бронёй, а с другой стороны, развитие земляных укреплений, которые легче чинить. Дальняя ружейная и пушечная стрельба в поле вызвала и новые приёмы атаки, снова успешные.

Во всём есть точка насыщения, и после этой точки, после этого предела — реакция.

Там, где точка насыщения есть точка вымирания или разложения, реакция уже невозможна; там, где реакция возможна, возможно превращение, выздоровление, усиление и т.д.

Не могло, повторяю, то христианство, которое мы знаем, готовое, выработанное, живое, стать таковым без крайнего и сознательного отвержения многого из плодов *предыдущей* цивилизации.

Я думаю, что и для ближайших, наступающих *веков* (а не годов) есть также признаки чего-то подобного. И если мои предчувствия когда-нибудь сбудутся, то переворот этот угрожает больше, по моему мнению, торжествующей ныне *прикладной науке*, чем скромно-кабинетным изучениям «хартий» или горячим спорам «тружеников» об «образе жизни русских дождевых червей».

Эти невинные, а, быть может, (кто их знает) и полезные занятия могут быть пощажены и тогда (ибо ничто *дотла* и бесследно не уничтожалось *никогда*), но едва ли тот дух, который подарил нам пар, электричество, телефон, фонографы и т.п., имеет бесконечную будущность. Ничто, говорю я, не пропадает бесследно на этой земле, но ничто и не держится без конца.

Если же всё имеет свой предел, то почему же и точным наукам не наткнуться наконец на свои геркулесовы столпы?

И отчего же в особенности этой проклятой оргии прикладных усовершенствований не найти свою точку насыщения в разумном же и не совсем уже позднем негодовании человечества.

А если так, то отчего бы нам русским не стать нововводителями в таком великом, умственном деле.

Отвержение (сначала в учёной теории, а потом и в общественной практике) этой веры в пользу слишком страстного *обмена, движения и всесмешения* состоит в самой тесной связи с теми возможностями более *прикреплённого, более расслоённого, менее подвижного общественного строя*, о котором я в прошлый раз говорил.

Как в самой жизни все разрушительные явления современности: парламентаризм, демократизм, слишком *свободный и подвижной капитализм* и не менее его *свободный и подвижной пролетариат* неразрывно связаны с ускорением вообще механического и психического движения (с паром, электричеством, телефоном и т.д.); так и умственное течение *конца XIX века* в России, начавшееся с противодействия тем из этих *антистатических* явлений, которых *вред больше бросался в глаза* (т.е. парламентаризму, пролетариату (безземельности), безверию и т.д.), может по мере созревания самобытности нашей *добраться* наконец и до всего этого, несомненно *весьма опасного*, торжества химии, физики и механики над всем *живым, органическим*, над миром растительным, животным и над самим человеком даже.

Ибо человек, воображая, что он господствует *над природой* посредством всех этих открытий и изобретений, только ещё больше стал рабом её; убивая и отстраняя одни силы природы (вероятно, высшие) посредством других, более стихийных и грубых сил, он ничего ещё не создал, а разрушил многое и прекрасное, и *освободиться* ему теперь от подчинения всем этим машинам будет, конечно, нелегко!

Если излишняя подвижность общественного строя, неустойчивость личного духа и излишняя поспешность сообщений связаны с жизнью тесно, то почему именно русским молодым учёным не могла бы предстоять такого рода двоякая широкая и самобытная деятельность:

Отрицательное отношение ко всей этой западной *подвижности*; *положительное* искание более *организованного строя* для своей отчизны? И тут опять возможно некоторое приблизительное примирение: *нового культурного типа* Данилевского; трёхосновности Платона; теократии

Соловьёва. Если же этим теориям из тиши кабинетов придётся *когда-нибудь* выйти и на поля международной брани, *тем лучше*. Избави Боже Россию безумно подчиниться идеям «вечного» этого *мира*!

XIII

Читаешь — и не веришь глазам своим. Перечитываешь — и начинаешь сомневаться в своём собственном понимании слов и мыслей автора! Такого безнадежного взгляда на Россию, такого отрицания — мы ещё не встречали ни у кого! Даже социалисты русские (за исключением тех из них, которые по складу личного ума и характера верят только в силу всеразрушения) и те надеются по крайней мере на возможность экономического благоденственного у нас переустройства... Мне пишут из Москвы, что некоторые молодые люди патристического настроения повержены были на первых порах в глубокое уныние по прочтении статьи г. Соловьёва. Чувство их понятно, но оно не основательно. Пусть утешатся. Г. Соловьёв *хочет верить* в то, что ему желательно; но мы, не ослеплённые его философской страстностью, его пламенной любовью к *избранной им идее*, не имеем никаких побуждений или оснований для соглашения с ним в его *особого рода* пессимизме: пессимизме *национальном*, так сказать. Если даже допустить, что он прав в главном пророчестве своём, в конечной цели своей проповеди, то есть в том, что рано или поздно произойдёт соединение двух ныне враждующих сестёр-Церквей, то до этого ещё далеко. Ещё много до тех пор воды утечёт, и произойдёт до тех пор многое множество таких событий, которые должны будут сильно отразиться на деятельности русской мысли.

Если допустить, что г. Соловьёв, говорю я, и прав в своей «крылатой» прозорливости, то всё-таки он прав только относительно, так, как бывает прав человек, устремивший взор свой издали на очень высокую и величавую гору. Что видит ясно такой человек? Он видит хорошо две крайности: он видит с одной стороны общее очертание этой синей и дальней горы и ещё он видит у ног своих траву, камни, мелкие кусты и немного впереди на какие-нибудь версты две до вершины первой возвышенности, заслонившей ему весь остальной вид, быть может на несколько десятков вёрст до подошвы той самой дальней и самой высокой горы, на вершину которой он устремил свой взор. Ничего промежуточного он не видит и не хочет знать. Но те, которым придётся *идти* (сознательно или бессознательно, охотно или невольно) к этой высшей и дальней горе, сколько изворотов, сколько трудных подъёмов и

крутых спусков они встретят на пути своём именно по тому промежуточному пространству, которое отделяет точку современного отправления от этой окончательной (положим) цели! Какие дикие пропасти, быть может, какие стремнины, какие красивые виды и успокоительные долины для временного утешения и отдыха!

Мы *думаем* об этих *ближайших* изворотах исторической дороги нашей, об опасности этих ужасных и недалёких уже ущелий и обрывов и об весёлых и зелёных долинах, которые мы ещё не отчаиваемся встретить на пути этом. Г. Соловьёв ничего этого знать не хочет. Он видит в *настоящую минуту* под ногами своими песок и камни, плохой кустарник и мелкую траву — и ему кажется, что до самой большой горы всё будет так.

Но это просто *невозможно*! Если бы было даже похоже на то, что примирение Церквей, в духе Соловьёва, произойдёт лет через двадцать не более, так и в таком случае разве это возможно *сделать вдруг*? Разве не будет *полемики*? А если будет полемика, то будут же писаться очень хорошие (быть может, даже и великие) сочинения в защиту православия; будет же значительная деятельность в области *национальной мистики*. Разве не будет предварительных совещаний, съездов, соборов, борьбы?.. Конечно, предполагая именно *конец* в духе Влад. Соловьёва, надо предположить и предварительную в высшей степени пламенную умственную борьбу.

Но ведь борьба подобного рода невозможна без некоторого, приблизительного равенства сил. Допустим даже, что победа выпадет на долю папства; разве эта победа будет куплена дешёвой ценой при том глубоко у нас до несправедливости даже (я согласен) отвращении к католицизму, которое г-ну Соловьёву *по личному опыту* хорошо известно; при возрастающей образованности и учёности восточного духовенства; и при несомненной теперь склонности и светских людей в России принимать к сердцу вопросы религии? Можно ли вообразить, что при таких условиях умственная почва национальной мистики в России будет бесплодна? Не в молчании же будут следовать православные люди по дороге в Рим!

Вернусь опять к уподоблению моему (горе — издали видной) и к тем политическим, *ожидаемым* событиям, о которых мне уже столько раз приходилось напоминать и которые для г. Соловьёва как будто бы и вовсе не существуют.

Увлечённый созерцанием той дальней исполинской горы *примирения церковного*, к которой стремится его душа, он не хочет и вспомнить о другой весьма крутой и величественной возвышенности, которую нам никак

миновать нельзя. Эта возвышенность всё то же и то же — разрешение *Восточного вопроса*, о котором я вынужден беспрерывно напоминать, ибо этот *переворот будет до того велик и влиятелен*, по своим последствиям, что на первое время и *весьма надолго* должен будет захватить всё наше внимание, потребовать от русских ещё небывалого напряжения *умственных сил*. Я говорю *умственных сил*, именно умственных; я об них говорю; я указываю на то напряжение ума, воображения, внимания, которое потребуется от русских тотчас *после* благоприятного для них исхода политической и военной борьбы. Вот что будет и трудно, и плодотворно. Умственная наша деятельность после благоприятного исхода этого, вот где и надежды, и сомнения, и опасности величайшие, и возможность творческого торжества. Сравнительно с этими последующими, медлительными потрясениями и с этой новой и неустанной работой духа, политическая и военная борьба наша за обладание в той или другой форме проливами — представляется делом лёгким, трудностью скоропреходящей и даже легко разрешимой при некоторых мало-мальски благоприятных условиях на Западе. Мы имеем достаточное основание надеяться, что западные европейцы сами с этой стороны позаботятся о нас, или лучше сказать о *дальнейшем развитии всемирной истории*, требующей, вопреки г. Соловьёву, какого-то славянского или неславянского — всё равно, но *во всяком случае нового, не либерально-европейского культурного типа*.

Война, конечно, будет, и, не рассчитывая ничуть на сравнительные силы войск, не взвешивая даже и финансовых обстоятельств наших, — исход борьбы военной будет нам *наверное* благоприятен, судя по всем слишком уже явным историческим приметам. Трудность (историческая) не в этой острой и всегда более или менее кратковременной борьбе, истинная трудность в борьбе дальнейшей, более медленной, *культурной*, конечно!

И тогда-то и окажется почти *с первых же шагов наших*, достойны ли мы были высоких надежд Данилевского (и славянофилов вообще) или недостойны. Химическое ли начало — русский дух — перерождающее и содержание и форму, или только механическое (перемещающее силы)? Огромное ли мы только всесокрушающее *государство*, или истинно великая и зиждительная нация?

Я говорю — *первые шаги покажут*, что мы такое, куда мы идём? И эти *первые шаги* (худые ли они будут или хорошие) *неизбежно* должны быть тогда сделаны и *на почве церковного домостроительства*; ибо весь вековой дух восточного вопроса — был дух *единоверия, церковности*, а не дух

племени, не тот дух голой национальности (аморфической, разрушительной), который создал лишённое всякой культурной независимости единство новой Германии и единство Италии, уже совершенно пошлой и даже как бы комической и подлой в своей международной роли. Церковность — культурна, созидательна, голый племенной национализм разрушительно плоск. Мы попытались было ему послужить, да и то не без оглядки, слава Богу, в 60-х и 70-х годах и до сих пор не знаем, как поправить те беды, которые сами наделали на Востоке.

Разумеется — что-нибудь одно: или церковность, или быстрое, очень быстрое нигилистическое разложение, после кратковременных напыщенных и громких газетных фраз — политического торжества.

Но разве эта неотступность церковной работы, которую г. Соловьёв не может отвергнуть, разве она не потребует новых и просвещённых трудов по части национальной мистики?

XIV

Прошедшее Церкви, государства, культурного типа, сословия, нации решительно не в наших руках; но на будущее этих общественных групп мы (дети прошедшего, живущие в настоящем) можем всё-таки влиять значительно в пределах данного прошедшим типа, мы можем способствовать *повышению и понижению* их дальнейшего развития или разложения. И конечно понижению типа, расстройству организма и даже его окончательной гибели служить гораздо легче, чем служить повышению этого типа, чем укреплению этого организма.

Употребляя слово «легче», я имею тут в виду не тот вопрос, когда *отдельным людям* сподручнее или безопаснее свершать те дела, которые ведут к развитию или к разложению того или другого общественного организма в период ли повышения типа или в период его понижения или разложения. Этот вопрос очень сложен; скорбей, труда и даже опасностей бывало и бывает много во все времена. Я говорю об организмах социальных то же, что говорит г. Страхов об организмах физических. Сами организмы легче поддаются порче и расстройству, чем наилучшему развитию и выздоровлению.

Чтобы дорасти от Гуго-Капета до Людовика XIV, Франции потребовалось около 500 лет; а чтобы *низвести* её государственный культурный тип от времён Наполеона I до республики Тьера, Гриви и Карно достаточно было только с небольшим полвека (от 1815—1871). И наша дорогая отчизна развивалась (то есть *дифференцировалась, расслоялась, объединяясь* в то же время в вере и власти) очень медленно. Со времён Св. Владимира до времён Императоров Александра I и Николая протекло около 800 лет.

При Св. Владимире впервые обозначились те культурные особенности, которые назначены были развивать (то есть осложнять, объединяя) в недрах своих национально-государственный русский тип. Православие и родовая удельная система, которая естественным ходом истории должна была разрешиться в родовое Единодержавие вот существенные черты или особые признаки будущего исторического типа нашего, которые первоначальными контурами своими обозначились уже 900 лет тому назад.

От князя Владимира до Иоаннов; от Иоаннов до Петра; от Петра до XIX века — организм России всё более и более расслоялся, объединялся, креп и рос. В XIX веке после Екатерины II он продолжал расти, обогащаясь новыми окраинами, новыми приобретениями, чуждыми русскому племенному ядру; *единство власти и господствующей веры* остались незыблемыми, но *внутреннее расслоение после Екатерины окончилось*. При двух последующих Императорах (не считая кратковременного Царствования Павла I) *дифференцирующий* процесс русской исторической жизни продолжался только в направлении *вертикальном* (провинциальном), если можно так выразиться, процесс же *горизонтального* (сословного) *дифференцирования* прекратился более, чем на полвека. Те незначительные изменения, которые вносились в сословные отношения наши при Николае Павловиче и Александре I, можно пропустить без внимания по сравнению с такими актами или такими ступенями развития, как табель о рангах Петра или дворянская грамота Екатерины. Расслояющие мероприятия Петра и Екатерины охватили всю жизнь огромного государства железной сетью систематической дисциплины; дисциплина эта, приучавшая одних ко власти, а других к повиновению, способствовала развитию во всех слоях и подразделениях общества характеров сильных, страстных и выдержанных, сложных и цельных, тонких и мужественно-грубых. Переходы, переезды, скачки с должности на должность, от одного занятия к другому, частые перемены образа жизни, быстрые карьеры и внезапные падения были редки и затруднительны. Всё это доступно было только избранным, самым богатым и знатным, или самым даровитым и сильным волей (хотя бы и на зло). Если мы назовём трёх великих

представителей той эпохи, которую можно назвать историческим роздыхом нашим, трёх великанов религии, государственности и национальной поэзии — *Филарета, Николая Павловича и Пушкина*, то этим будет сказано всё. Как много у них общего в основах и как мало сходства и в *темпераментах*, и в роде *развития*! Внутреннее дифференцирование приостановилось в отдыхе после долгой борьбы с внешним врагом (демократической Францией, отказавшейся раз навсегда от дифференцировки).

Оно остановилось и дало в этом роздыхе на всех поприщах великие плоды.

А дальше что?

Дальше я не решусь сказать так, как сказал в «Анне Карениной» Левину один умный и прямой помещик: «Эмансипация погубила Россию!»

И не скажу я этого не потому, что даже и лучшие реакционеры наши не решаются этого «жестокоего слова» произнести, а потому, что я сам не уверен в безусловной правоте этого помещика.

Что значит «погубить» в подобном случае?

Погубить значит, приблизить посредством опасных мероприятий срок окончательного падения державы, срок её окончательного подчинения иностранцам или её добровольного слияния с каким-нибудь соседним государством. Иначе слово «гибель» для государства понять нельзя.

Разумеется, всякий видит ясно, что России не только далеко до этого, но что она, напротив, даже вступает к XX веку в период *разностороннего* перевеса над другими.

Это *чувствуется* не нами одними, но и теми народами, которых в одно и то же время мы называем политическими соперниками нашими и нашими учителями в деле умственного развития.

Это ясно, но ясно и то, что преобладание может быть прочное и может быть непрочное, может быть долговременное и может быть скоропреходящее. Унижение, падение бывают быстры и неожиданны только в *поздний* государственный *возраст*, в каком, несомненно, уже находится Россия.

Мы не можем желать для родины нашей такого искусственного и эфемерного преобладания, каким наслаждалась Франция при Наполеоне III всего в течение 20 каких-нибудь лет!

Судьба древней Афинской республики с этой стороны тоже не может быть завидна. её преобладающее положение продолжалось только полвека от Платейской победы до кончины Перикла (479—429).

Современная нам Германия возвысилась политически на наших глазах и теперь тщетно напрягает последние силы свои, чтобы сохранить своё высокое международное положение.

Долго за величественной фигурой Бисмарка не замечали слабые стороны построенного им здания; но великан удалился и Германия перестаёт мало-помалу быть страшной.

Не о *таком* эфемерном и пожалуй ненужном даже преобладании здесь идёт речь.

Я сказал ясно, что не только до гибели нам далеко, но Россия вступает к XX веку в период разностороннего перевеса или преобладания над другими.

Однако из того, что я подобно многим другим вижу этот возрастающий перевес, не следует, чтобы я собственно ему, *перевесу этому*, безусловно радовался.

Ибо только тот внешний перевес желателен, который будет способствовать нашей *внутренней независимости* от демократической и несомненно «гниющей» Европы. Внешние успехи и удачи нужны нам для того, что зовётся внутренним «подъёмом духа»; они нужны для укрепления народного самосознания нашего; для восстановления расшатанных устоев внутреннего развития, внутренней дисциплины.

Не Афины времён Фемистокла и Перикла, не Франция двух Бонапартов должны служить нам образцами, а Рим и *прежняя* Англия, всегда «медлительно спешившие».

Когда-нибудь погибнуть нужно; от гибели и разрушения не уйдёт никакой земной общественный организм, ни государственный, ни культурный, ни религиозный.

Самому христианству Спаситель предрёк *на земле* разрушение, и те, которые пророчат нам *на этой земле* некое небывалое и полнейшее торжество «воинствующей» (т.е. земной) Церкви, проповедуют нечто вроде *ереси*, противной не только учению православного духовенства, но и Евангельскому учению.

Погибнет и Россия когда-нибудь. И даже, когда, окидывая умственным взором весь земной шар и весь состав его населения, видишь, что *новых и неизвестных*, сильных духом племён ждать неоткуда, ибо *их уже нет* в среде несомненно устаревшего человечества, то можно почти наверное предсказать, что Россия может погибнуть только двояким путём, или с Востока от меча пробуждённых китайцев, или путём добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией. (Последнему исходу чрезвычайно может пособить образование либерального, *бессловного* всеславянского союза).

Есть и третий возможный исход, на который уже давно с ужасом и отвращением указывали враждебные нам европейцы: «Россия это нечто вроде исполинской *Македонии*, которая, пользуясь раздорами западных народов, постепенно подчинит их всех своей *монархической* власти».

Римом нас не удостаивали, насколько я знаю, называть. И с первого взгляда подобные европейцы могут показаться правыми. Македония не имела ни *своих учреждений*, ни *своих нравов и вкусов*. Она имела только одну силу, привычку к сильной *царской власти*; со всех остальных сторон мы не видим в её истории никакой характерности.

Рим, слабый и податливый в деле быта, нравов и вкусов, был силен не столько единоличной властью, сколько самородными и глубокими *учреждениями*. Благодаря воспитательному влиянию этих самородных учреждений, в Римском государстве *вовремя* утвердилась единоличная власть и продержалась на западе целых *500 лет* (от Августа до Ромула Августа); на Востоке же передана была Византии ещё на целое *тысячелетие*. Религия и нравы изменились, *законы* остались.

У нас нет таких самородных и превосходящих всё окружающее законов и учреждений, с этой стороны мы никого и ничему учить не можем. Наша Царская власть прочна (*теперь*, после *уравнительных* реформ) не столько мудрыми и самородными учреждениями, сколько *чувствами* и живыми *потребностями* нашими. С этой стороны мы действительно ближе к Македонии, чем к Риму; но у нас сверх вошедших в кровь большинства русских людей привычки и любви к Самодержавию есть ещё нечто великое, чего у Македонии не было. У нас есть *своя религия*, которая может получить с течением времени и мировое назначение.

В настоящее время православие имеет только по существу своего учения *мировой* смысл; но оно ещё не выразило в руках наших такого *назначения*,

которое бы мы имели основание и право назвать истинно мировым. Ни западные народы, ни азиатцы толпами не переходят в него.

И будут ли переходить — мы этого не знаем.

Но мы чувствуем и даже знаем, что близятся быстро времена, когда два великих вопроса, два мощных течения овладеют и увлекут человечество, быть может, до забвения всего остального.

«Хлеба и зрелищ!» — кричали римские толпы.

Хлеба и веры, хотя бы ценою новых видов рабства! — будут скоро кричать все народы Европы!..

Счастлив и могуч будет в такие времена тот народ, у которого вера и привычка к повиновению будут сильнее, чем у других.

Будут ли они у нас к тому времени сильнее, чем у всех других?

Есть указания, что будут, есть надежды. Есть и всем известные признаки обратного.

Примеров и тому, и другому за *последние годы* так много, что одним только кратким и сухим перечнем таких примеров можно бы наполнить довольно большую книжку.

И если бы у меня спросили по совести, какой же мой самый сокровенный сердечный, так сказать, вывод из этого множества противоположных примеров, я не знал бы, что ответить. Я говорю сердечный вывод потому, что ясный, *умственный* вывод в наше время так же невозможен, как невозможно было, например, во времена иконоборцев решительно пророчить о том, какие убеждения возьмут верх, убеждения Льва Исаврянина, или убеждения Феодора Студита. И даже тот *смутный* сердечный вывод, который в наше время доступен, у меня нерешителен.

На вопрос, *что*, по чувству сердца моего, должно взять верх в не слишком отдалённом будущем — *то, что я люблю*, или *то, что я ненавижу* (т.е. вера, власть и *неравенство* прав, или безверие, безвластие и *равенство*?), — я бы ответил искренно «не знаю!» Ибо другое дело сильная *любовь* к идеалу веры, власти и неравенству, и другое дело твёрдая *надежда* на его осуществление в жизни, даже и неполное.

«Организмы общественные подобны организмам физическим»...

Вредить организму легче, чем делать ему пользу. Легче испортить организм, чем способствовать полному развитию его типа! Организм же наш

с 61-го года этого века заболел эгалитарным либерализмом... Теперь мы его лечим.

Вылечим ли?..

Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. М. В.М. Саблин. 1912-1919. Т. 7. С. 285-379.